

ИНТЕРПОЭЗИЯ

Международный журнал поэзии

2022, избранные тексты выпусков 64–67



Нью-Йорк – Москва

Главный редактор и издатель: Андрей Грицман (Нью-Йорк).
Соредактор: Вадим Муратханов (Москва).

Редакционная коллегия: Лилия Газизова (ответственный секретарь, *Кайсеры*), Александр Вейцман (секция переводов, *Нью-Йорк*), Марина Гарбер (секция критики и литобзоров, *Лас-Вегас*), Лариса Щиголь (Мюнхен), Марина Эскина (*Бостон*), Дмитрий Тонконогов (*Москва*).

Редакционный совет: Игорь Бяльский, Владимир Гандельсман, Юлий Гуголев, Владимир Друк, Бахыт Кенжеев, Наталья Полякова, Владимир Салимон, Александр Стесин, Алексей Цветков.

Зав. редакцией: Елена Ариан.

ISSN № 1554-9313 Электронная версия
ISSN № 1554-9305 Печатная версия

© Авторы, тексты

© Интерпозия, состав и оформление



Журнал издается при участии издательства
NUMINA PRESS, Калифорния (www.numinapress.com)

ИНТЕРПОЭЗИЯ – международный журнал лирической поэзии, основан в 2002 г. Журнал публикуется в США и выходит в электронной версии на сайте журнала interpoezia.org. Мы публикуем стихи, переводы, короткую прозу («стихопрозу»), эссеистику, интервью, дискуссии и отзывы о новых книгах и журнальных публикациях.

Наш журнал – это поэзия «поверх границ», в координатах времени и пространства. Наши времена – потерянность в толпе и одиночество в глобальном межкультурном пространстве, когда поэзия становится основным способом общения между посвященными. Это также попытка навести электронный мост между материками двух мощных языковых и литературных культур: русской и англоязычной. Русский язык, а с ним и поэзия, живет и развивается, подобно современному английскому, на разных территориях: в метрополии, в дальнем и ближнем зарубежье. Сведение под одной небесной крышей поэтов и редакторов из разных стран сегодняшнего обитания поможет найти общий поэтический язык.

Адрес редакции:

Interpoezia, Inc.
210 Riverside Drive, Suite 6D
New York, NY 10025
USA

Электронный адрес: editor_interpoezia@hotmail.com

Все материалы в редакцию рекомендуется отправлять по электронной почте.

Просьба присылать не более 10 страниц текста с краткой биографией. Большие объемы редакция не рассматривает.

Рукописи не рецензируются.

Авторские права передаются авторам после публикации. Все материалы опубликованы с согласия авторов. Просим при перепечатке наших материалов ссылаться на источник.

Журнал можно приобрести:

Нью-Йорк: в нью-йоркской редакции журнала: Елена Ариан
editor_interpoezia@hotmail.com

Москва: в магазине «Фаланстер», ул. Тверская, д. 17 (вход с
Малого Гнездииковского переулка);
в московском отделении редакции: Вадим Муратханов
khanmurid@mail.ru

Представитель журнала в **Санкт-Петербурге:** Наталья Дзе
natashka75@inbox.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Владимир Гандельсман МУЗЫКА В КАДРЕ	11
Светлана Михеева БОГ ПОЛЯН	16
Владимир Попович ПЕРЕСОХШИЕ ЯЗЫКИ	19
Марина Эскина ЧТЕНИЕ.....	22
Наталья Резник БЕСПОЛЕТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ	26
Наталья Белоедова ХРУПКИЕ СТЕНЫ	29
Эгвина Фет ТЕЛА И КОСТЮМЫ	31
Андрей Коровин ИЗ КНИГИ «КАЛИМЭРА» <i>ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРА</i>	33

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Бэрн Уормсер ДОРОГИ. Из книги «ПЕСНИ С ГОЛОСА». <i>ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЕЛЕНА АРИАН</i>	43
---	----

ПОЭЗИЯ

Сергей Золотарев ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ.....	49
Ольга Иванова ПОСЛАНИЯ.....	53
Нина Косман ЦИКЛ О ГОЛОВЕ.....	56
Александр Радашкевич ПРОСТЫЕ ВЕЩИ.....	60
Елена Севрюгина ЗАПИШУ СЕБЕ ИМЯ.....	64

Михаил Калинин ГИМН НАД ВОДОЙ	67
Ирина Ермакова ЛОВЕЦ НЕНАГЛЯДНЫЙ. Из книги «ЛЕГЧЕ ЛЕГКОГО». ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МАРИНЫ ГАРБЕР	71

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Лилия Газизова ОСЕНЬ ПАСТИРМЫ	81
---	----

ПОЭЗИЯ

Вера Павлова ПЛОТ НАД БЕЗДНОЙ	93
Алексей Дьячков ЗАПОМНИ СВЕТ	99
Рафаэль Шустерович ТУШЕ	104
Ирина Чуднова РАЗГОВОР С ПУСТЫНЕЙ	111
Борис Фабрикант ОКОШКО МЕЖДУ ВРЕМЕНАМИ	116
Нелли Воронель МЭРИКРИСМАС	118
Галина Калинкина ПИСЬМА БЕЗ МАРОК. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРА	120

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Влад Дмитриев БУКОВИНСКИЕ ЗАПИСКИ, РАСТЕРЯННЫЕ ПО ДОРОГЕ ОБРАТНО	127
--	-----

ПОЭЗИЯ

Юлий Гуголев ДВЕНАДЦАТЬ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ	133
Мария Затонская НИЧЕГО СТРАШНОГО	142

Григорий Князев ИНАЯ ЖИЗНЬ	144
Дмитрий Тонконогов ЗИМА ЗАСТРЯЛА В ЧЕЛОВЕКЕ.....	147
Евгений Сливкин ВОЗВРАЩЕНИЕ.....	151
Евгений Степанов МОИ ЛЮБИМЫЕ ГЛАГОЛЫ	154
Александр Амчиславский ИДЕТ ВОДА	156

VERBA POETICA

Андрей Грицман МЕЖДУ ПОЭЗИЕЙ И МЕДИЦИНОЙ	159
Ирина Машинская МЕТР И РИТМ ДНЯ И НОЧИ. <i>О книге Филиппа Ливайна «Что такое работа»</i>	175
Марина Гарбер «ЧТОБЫ ЛЮДИ МИРА ПОМНИЛИ – ЭТО МЫ ЛЕЖИМ ВО РВАХ». <i>Размышления над книгой Александра Кабанова «Исходник»</i>	180
Шамшад Абдуллаев ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ГЕРМАНА БРОХА.....	190
Владимир Гандельсман ЧЕРЕДОВАНИЯ	195

ПЕРЕВОДЫ

Уистен Хью Оден МЫ ВСЁ ЕЩЕ ЗДЕСЬ. <i>Перевод с английского Андрея Ландау</i>	209
Уильям Батлер Йейтс ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. <i>Перевод с английского Сергея Кулакова</i>	213
Дана Прескотт В НАПРАВЛЕНИИ ДОМА. <i>Перевод с английского Людмилы Херсонской</i>	216
Сандра Лилло Я ПОТЕРЯЛА КЛЮЧИ. <i>Вступительное слово и перевод с французского Лилии Газизовой</i>	222

Альфред Теннисон

ЗА КРАЙ ЗЕМЛИ.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО И ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО СЕРГЕЯ ФЕДОСОВА.....227

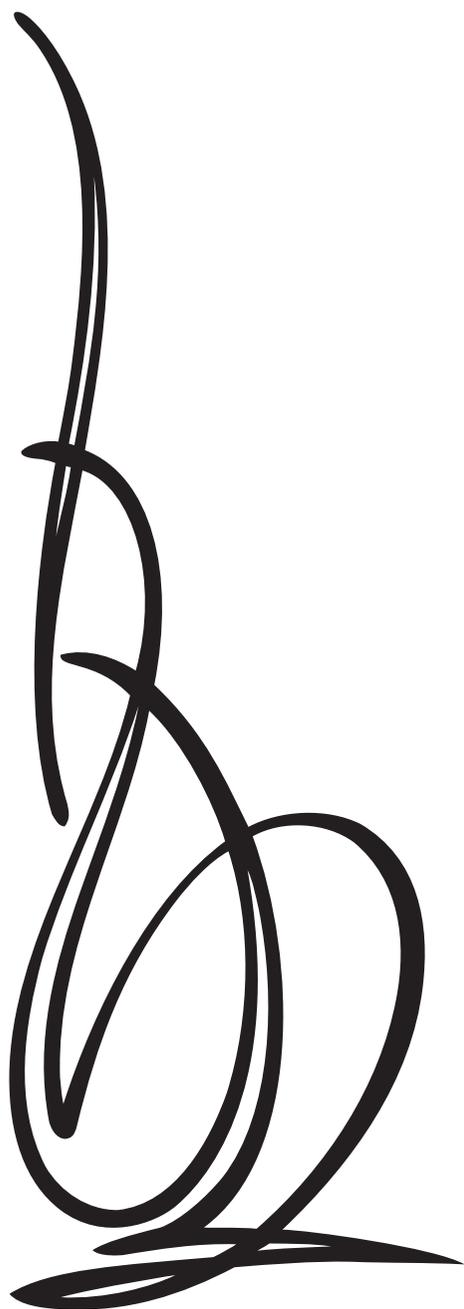
IN MEMORIAM

Алексей Цветков

«Я ЗДЕСЬ ВДВОЕМ С СОБОЙ И В ОДИНОЧКУ».

ПУБЛИКАЦИЯ И ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АНДРЕЯ ГРИЦМАНА.....237

ПОЭЗИЯ



Владимир Гандельсман

МУЗЫКА В КАДРЕ

ЛИЦО И ГОЛОС

1

Зрение еще, зрение,
слух, слух,
тела дышащее строение,
лед сухой – дух,

шаг, еще шаг
через прорытый мрак,
гнется мосток,
воля к движенью, ток

крови еще не ослаб,
еще, еще,
вспыхивает, как лампа,
мозг горячо.

2

двое есть на земле
есть песчаный к озеру спуск
в паутине ель
ясных яблок вкус

двое есть и зыбь
всхлип белья с низин
спуска снись изгиб
белизны белков явна синь

время весь
день смотреть вдвоем
явный вкус и вес
в ясный воздуха взят объем

3

Темных закоулков тихих
в комнатах, где столько по углам
совести, и столько психов
медленно копило хлам,

или пауков, жучков древесных,
блудных дочерей и сыновей
темных закоулков тесных,
возвращайся, этот прах развей,

знаю, в доме плача сердце мудрых,
всё же горя всех похоронить
столько, сколько счастья в наших утрах –
одному другого не забыть,

не развеять, вот и бродит совесть
возле нас, чтоб заплатить могли
за безумный шепоток любви:
Бог и есть твое лицо и голос.

4

какой разрыв пространства ты
что так сгустилось в твой состав
как бы изнанка пустоты
внезапным шелком просияв

что так хотело затвердеть
из ничего себя соткать
и проясниться в жизнь и в смерть
как эта дрожь перебежать

5

Благодарю белой ночью сквозной
за выходящую из берегов
кровь, вдохновенье, окатывающее новизной,
небо, вынутое из меня,

за папиросу проспекта, протянутого к реке,
с огоньком светофора,

благодарю белой ночью, взбегающей налегке
за тобой по ступеням,

благодарю в этом городе тихих стен,
приснившемся самому себе
городе, несравненную тень
благодарю любви.

ОПУС

Однажды в феврале горел
наш дом, я на него смотрел.
Жена слез не лила,
стояла молча.
Дом раздирал огонь клыками в клочья,
пока он не сгорел дотла.

Там был отцовский портсигар,
мундштук, часы,
любимый елочный зеленый шар –
все то, что не положишь на весы –
в особенности, если это почерк писем.
Их пепел – дар небесным высям.

Еще альбом
тех фотографий черно-белых
с зимой, с деревьями в снегу, с катком,
с детьми в попытках неумелых
в «снегурочках» убогих с завитком.
Родители за праздничным столом.

Однажды, заболев, я сей
полночный опус начал,
уоставившись в туза крестей
окна. Там дочь прошла и сын маячил.
Как странно, что не навестили.
Они меня за что-то не простили.

МУЗЫКА В КАДРЕ

день ангельский
да свет золотой,
сельский,
в окне сарай дровяной,

голубь, карниз,
их трое у
стола, рожок из-
под молока, агу,

семья из трех,
в пеленах дитя,
окно – то вдох,
вовсю светя,

то выдох, то
вдох, птичий грай,
ночь, стук лото –
желудь на сарай,

за ним другой,
проснусь – подать
до них рукой –
вот отец, вот мать,

от тех, кого в мире нет,
не падает тень
на золотой свет,
ангельский день.

* * *

Еще стихов, еще счастливейших
стихов, еще дождливых дней, –
оживший тлен земли, – дождливейших!
Смотри, становится темней.

И трав покров зеленоблещущий,
сверкая, стелется во мгле,
и луч закатный, быстро блекнущий,
последний, гаснет на земле.

Всей глубиной, в себя обрушенной,
я к жизнетаинству прильну,
и сдамся, встречно обнаруженный,
непререкаемому сну.

* * *

Фасады, забранные в сетки
пожарных лестниц,
и птичьи в небесах заметки –
блистанья лезвийц,

там замирает взгляд-скиталец,
в полях смиренья, –
так интенсивен этот танец
исчезновенья!

Все это ты, счастливец улиц,
ее полениц
и щепок солнца, мой безумец
и отщепенец... –

вот он стоит возле киоска
и смотрит немо
на белый труд каменотеса,
на мрамор неба,

на облако, его прожилки,
на то, чем станем... –
и вновь идет, собрав пожитки,
спокойно-странен.

Светлана Михеева

БОГ ПОЛЯН

* * *

Среди горячих крон,
шумящих на латыни,
такой неизмеримо обжитой,
плод спит и видит сон,
как зреет в нем пустыня,
смущенная своею пустотой.

И, пленники ея,
в предвосхищеньи духа
внизу лежат тела, отчаянно нежны.
Прохладная змея,
вползающая в ухо,
открыла им язык тенистой тишины –

путь нежного труда.
В нем гибкая природа,
блестящие лучи спустив с высоких плеч,
бросает невода
неровных переводов,
ловящих пустоты цианистую речь.

Янтарный свет прилип
ко впадине яремной
продляясь вниз, как сад вдоль каменной гряды,
гонять чужих охрип
божок его туземный...
А чем живете вы, молчащие плоды?

* * *

Бог полян качает колыбель
Где таится маленькая ель,
В чашечке оврага – полцветка
И березы мертвая рука
Тянется потрогать облака.
И зачем ей эти облака?
В синем-синем приторном меду

Вязнут, точно раненый в бреду,
Где огонь сжигается огнем.
Прах двойной помолится о нем.
И зачем он молится о нем,
Угли сыплет черным ячменем?
Разве это страшное зерно
В пищу нам иметь разрешено?
Будто вся любовь, что нам дана,
В этом околотке сожжена,
Брошена на травы, сожжена,
Посреди кипрея и вьюна,
Где с тех пор тоскуя и досель
Бог полян качает колыбель.

* * *

Сам воздух обещен ленью,
Но ты придти ко мне готов
Сквозь равнодушные движенья
Замерзших высохших листов.
От них, почти из ниоткуда,
Тебе передается дрожь.
Между деревьев бродит чудо,
Но ты его не узнаешь.
А чудо, славная помеха,
Не различает слов твоих –
Так заблудившееся эхо
Летает в полном забытьи.
Хранит слова как вещи бога,
И нам не нужно их взаймы,
Ведь и без них звучанья много
В опасном голосе зимы:
Вороний шорох, сосен лиры,
И в тот момент, едва погиб,
В тончайшем сумраке квартиры –
Природы сладострастный хрип,
Ему сдаешься добровольно,
Пускай минуты сочтены:
И в человеческом довольно
Присутствует от тишины.

* * *

Бряцает доспехами дождь-паладин,
Язычников взявши в кольцо
Внутри черноплодного смеха рябин,
Скрывающих чье-то лицо.
В пределах возможного и вопреки
Возможному *видимо* для
Скрипучего тела холодной реки,
Обрыва, песка, журавля,
Для хижины утлой, прогнившей насквозь
Для улицы старой, для пня,
В котором чего только не развелось.
Невидимо – лишь для меня.

Чужим отраженьем, размытым как сон,
Который не вспомнить уже,
Лицо из каких-то прекрасных времен
На диком стоит рубеже,
Что полой травой со дна до небес
Зарос, разделив навсегда
Ту тайну, в которой качается лес,
И ту, что растит города.
Свидетель сокрытия, еле видна,
Известна любовной волшбой,
Плывет к водопою пустая луна,
Не чуя земли под собой.

Ветра, замыкают магический круг,
Кряхтят в захолустном дворе.
Но всюду царит очистительный звук,
Слепящий в своем серебре,
Вода как предчувствие, в чреве ее
Блистают и память моя –
Как свет, освещающий это жильё,
И стены другого жилья.
Под гибким покровом живучих ветвей
Увидишь, лишь дверь затвори:
Лицо тишины неизвестных кровей
У нежного смеха внутри.

Владимир Попович

ПЕРЕСОХШИЕ ЯЗЫКИ

* * *

закрываешь докладываешь темноте
как шагали под флагами разменивали квартиры
воскресают рядками товарищи по клевете
панибратских дел ювелиры

кадры тасует прижизненный фигурант
верю-не-верю в аэросъемку
родственный вызов из лондона или торонто
через бутырский проем

номер такой-то не выйдешь отсюда пока
двое храпят у тебя в мавзолее
гадину живо раздавим не тронь слабака
дров наломай а не то околеешь

мечутся тени как на катке
скрежет каленый и тенор в субботней бытовке
дух бригадира под утро идет с молотка
требуется остановки

* * *

не смогли затемнить места
ключник архива пропил аванс
вот и теперь сквозь неслышимый грохот колес поезда
режут маршрут через нас

пастбища сквозь облака
щели теплушек чур угадай по глазам
бойтесь у стенки застучать того старика
если включить тормоза

так переводится адский фокстрот
на языки пересохшие здесь
бликовый потреск уносится за поворот
делает зрителю честь

птицы расклеивают гудрон
фон ускоряется под инфракрасную тьму
в зале свободно будто в канун похорон
входим по одному

* * *

что ли от этого тихо беседа
прерывается с гулом живых
это веселье без нас пояснение света
бунту травы

словно идешь вдалеке меж пустыми
караванами лагерей
по глазницам не можешь припомнить последнее имя
поневоле стареешь

можем ли кнопкой запать на повторе
дабы не слышать травы не роиться вокруг
это будем не мы а затихший с утра на просторе
стереозвук

* * *

остановись на проселке
посреди степей оренбуржья
открой капот и убедись
что дальше спешить некуда

до ближайшей деревни в четыре двора
примерно 25 км навигатор сдох
рядом машина как девица
стоящая раком с задранной юбкой

что ты будешь делать
лежа с сигаретой на дороге
голосуя за усталые звезды

* * *

а морошка-то молодая
слышите саша и вова
воздух сокращается тает
на глазах у слепого

грядок былая привычка
кот на припеке
тень самовара надутая прачка
телится руки в боки
как бы не память через границу
шла напоролась
билась с собой наугад за крупицу
за каждый волос
маялась летчица луговая
брошенок подбирала
кашицей огневой вызревая
от зари до урала
сводниц о помощи не корила
гордых не умоляла
прятала яблоки из акрила
смерти под одеяло
снова хрипит бормочет снаружи
и над дворами несется
брызгами медленными из лужи
нет из глазного колодца

* * *

вроде не поздно а станется наоборот
это как в прорубь где горячо и мелко
это как раньше на кухне подставленный табурет
падает на пол тарелка

взбитый белок около блюдца замер
пол со стеною движущийся редут
милые
время развеет по ветру шпаргалочки на экзамен
если сейчас придут
если сейчас придут

Марина Эскина

ЧТЕНИЕ

* * *

Лыжи, Павловск, холодные бутерброды с сыром,
Апельсин, поделенный на три части,
Именно такой, моя Россия,
Где аккуратно надрезанный апельсин папа чистит,

А вечером читает Тютчева с особенным выражением,
Которое я тогда не до конца понимала,
Чтение было оберегом, чуждого отторжением,
Продолжением зимнего ритуала.

Чистота зимы, снег ее еще не главное,
Главное – с книгой в руках – под лампой, чтение,
Ровное биение сердец, дыхание плавное,
Свет на всех трех книгах, лампа, тень ее.

Шепот страниц, произвольный вздох, взгляд блуждающий
По-над книгой, почти случайный,
Говорящий – сегодня воскресенье, подожди еще
Прятаться в тайники свои отчаянные.

ЧИТАЯ «ИЛИАДУ»

1.

*The intellect of man is forced to choose
Perfection of the life, or of the work,
And if it take the second must refuse
A heavenly mansion, raging in the dark¹.*
W. B. Yates

Ахиллеса, Пелеева сына, мать Фетида любила сверх меры,

¹ Ум человека должен выбирать
Меж совершенством жизни и труда,
И выбравший второе – навсегда
Забудет про покой и благодать (пер. с англ. Г. Кружкова).

В школу девичью определила, не дарила военных игрушек,
 Все равно не спасла быстроногого мать от военной карьеры,
 Только взлелеяла в нем, прекрасноволосая, гордую душу.

Так разгневался на Агамемнона он за похищенную Бризеиду,
 Так о павшем Патрокле стонал-горевал испугленно и громко,
 Что, подобно врагам, искупали ахейне горькую эту обиду,
 А Фетида с Гефестом снаряжали на смерть исполина-ребенка.

На Олимпе ругались и мерялись чином, что в местном райкоме,
 И героев, как в кости, проигрывали, иногда оживляя для сечи
 Новой, продуманной лучше, чем прежде, изобретательней; кроме
 Того, между битв, говорили герои и боги прекрасные речи.

То, что ответил Ахилл, возмужав, Одиссею в песне девятой,
 Отозвалось у Йейтса сквозь тысячелетия эхом бессмертным –
 Жизнь посвети дому, жене, длиннорунным стадам и ребятам,
 Или на поприще трудном, забыв о покое, славу преследуй.

2.

Когда вдвоем читаем вслух Гомера,
 гексаметры и кровь из-под руки
 текут сквозь строки наперегонки,
 куда бой не остановит Гера,
 Кронида соблазняя красотой
 и хитростью, пока меняют боги
 свою лояльность и свои чертоги,
 а время остается за чертой.
 Победу верную вынь да положь,
 бойцы порывисты и мускулисты,
 и пожелтевшие гравюры Бисти
 штрихом волнистым вызывают дрожь.
 А юность вдруг так оказалась близко,
 что кораблей надежная прописка
 легко сменилась и они летят,
 летят туда, куда ушли герои,
 куда и мы уйдем на поиск Трои
 и, верно, не придем уже назад.

МАМЕ

Достоевский был с логикой не в ладах
и досталось ему за то,
что он белой ночью, строча впопыхах,
любоваться хотел звездой,

ты честила его, но читала всего,
зная точно, что не любить,
было слово в начале, а до него
ничего могло и не быть.

Ты всю жизнь корила себя потом,
что не слала Зоценке слов
утешения в черном сорок шестом,
став безродной в сорок восьмом.

И когда Яновского поп уморил
и в тюрьме затих Ювачев,
тебе Веничка «Петушки» подарил,
отпустил тебя Горбачев.

Богоравный Гоголь и вечный Хармс
знали жизнь твою вдоль-поперек,
«Нос» читала тебе я в последний раз,
но уж, видно, было не впрок.

Снились Черчилль с Эйнштейном тебе сам-друг,
а не киевская родня,
а в стихах ты ценила мысль, но не звук,
да и то лишь ради меня.

Вот бы там, куда ангел уносит всех,
ты увидела их опять,
это было бы краше райских утех,
да и чувств там больше, чем пять.

За тобой пришли и за мной придут,
незаметный пришлют конвой,
в этом есть и логика, и абсурд,
мне оставленные тобой.

ПОСЛЕДНЕЕ ЧТЕНИЕ

Г.А.Ш.

*И паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.*

Ф. Тютчев

Почитаем-ка сегодня Тютчева,
Ничего мне не придумать лучшего,
Чем стихи об осени читать,
Сразу вижу проблеск понимания,
Вместе мы проходим испытание,
И кому здесь повезло, как знать?

Я бросаю этот круг спасительный,
В глубину, где память о родителях
Тонет, о друзьях, учителях,
В ней тону и я, когда, не узнана,
Взгляд ловлю, искусно и искусственно
О делах справляюсь, о болях.

Но когда *suentium* ответит мне –
А душа сквозь это, точно свет в окне –
Я читаю, чтобы не погас
Тонкий волос паутины тютчевской,
Он сейчас – замена лучшей участи –
Только и соединяет нас.

Наталья Резник

БЕСПОЛЕТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

* * *

Стоит в музее авиации
Покрытый пылью истребитель.
Не проникают инновации
В его спокойную обитель.

Его, смеясь, фотографируют
На сайт музейного портала
И мелким шрифтом констатируют,
Что это чучело летало.

Он сам привык за век бездумности
Аэропланом называться,
Но удивляется, что в юности
Умел от пола отрываться.

Полны блистательной историей
Его музейные хоромы.
Но кажутся фантасмагорией
Огни полос аэродрома.

...

Приветствуй с гордостью холодную,
Пока не разберут на части,
Свою реальность бесполетную –
Свое пожизненное счастье.

* * *

Long ago, on an unknown date
В школу девочка бежит по Тверской.
Кто-нибудь, a single classmate,
Вспомни меня такой!

О, невыносимая anguish
Soul мою сжимает в груди.
Русский, любимый, родимый language,
Он у тебя один.

Беги, девочка, закаляйся сталью,
 С Родиной неразделима fate.
 Как тебя зовут-то? Natalya?
 Don't be late.

* * *

Как начиналась бешеная пьянка –
 Безумием с весельем пополам.
 Наутро – в коридоре перебранка
 Да грязная посуда по углам.

Какой огонь сжигал во мне под вечер
 Дотла остатки воли и стыда,
 Кто мне, волнуясь, руки клал на плечи,
 А утром ни приметы ни следа?

Кто сердце мне выкручивал без боли
 В одной неназываемой стране?
 Кто в письмах мне писал: «Чего же боле?»
 Да черт возьми, пусть даже и не мне!

В какой главе банального романа
 Остался незаконченным полет?
 В какой момент обычного обмана
 Посередине порван переплет?

РУСАЛКА

Что, русалочье отродье,
 Рвешься с илистого дна,
 Без кого в глубоководье
 Ты измаялась одна?

Что за рыцаря земного
 Возжелала ты в ночи,
 Что ж объятья водяного
 Для тебя не горячи?

Под луной ничто не ново,
 На земле и на воде.

Все закончится хреново,
Как бывает у людей.

Но когда твой принц дурацкий
Припадет к твоим губам,
Нет на свете муки адской,
Чтоб препятствовала нам.

Будем счастливы, ей-богу,
А потом уже на дно –
К водяному, к осьминогу,
Да к планктону – все равно.

* * *

Солидная дама в пуховом берете
Стоит интересов российских на страже.
А дома у ней разнополые дети.
И муж малопьющий имеется даже.

Ей все и про все достоверно известно,
(Она накануне ходила к цыганке).
На кладбище ей заготовлено место.
На старость отложены деньги в сбербанке.

Ее от сомнений всегда охраняли.
Надежней и тверже людей не бывает.
Она в эту землю вырастает корнями,
Она ее потом своим поливает.

В нее и уйдет, и не будет на свете
Вот этой вот дамы такого-то году...
Но будет другая в таком же берете
Надежным оплотом стране и народу.

А эта в земле привидений и предков
Посадит березу за крайним баракон
И, может быть, даст нам каких-то обедков,
Безродным бродягам, бездомным собакам.

Наталья Белоедова

ХРУПКИЕ СТЕНЫ

ШЕРАБАД

мне никак не дает покоя
этих гор неприступное море.
этих выцветших трав,
этих высохших рек,
этих жухлых полей
человек
не коснется.
только выльется дождь,
только высыпет снег –
и опять все сначала начнется.
будет ветер сухим,
будет воздух немым
и палящим вечное солнце.

БАБУШКЕ

не возвращаются –
смех переливчатый, тонкий, девичий.
зубы-жемчужины.
тугая коса цвета каштана.
отодвигаются временем –
не видно совсем.
и тело
все меньше и меньше.
в кровати, как в люлочке.
баю-бай.
взять бы на ручки,
не спугнуть сон.

* * *

В доме сменили лифт.
Старые двери, обшивка, сгоревшие кнопки – повсюду.
Этажи похожи на свалку, о которой забыли.

Вот новый на месте. Бока серебристы.
Кнопки с подсветкой и музыкой при нажатии.

Днем, утром, и ночью, и вечером
он с ревом несется вниз
и так же взбирается вверх.
Мне кажется, дом наш не выдержит скоро.
Какие же хрупкие стены –
наши бетонные стены.
Какие же тонкие двери –
наши железные двери.

Вчера видела пару: мужчина и женщина.
На первом – жали на вызов.
Предупредила их – лифт не работает.
Он на обкатке, кажется.
Да нет, – говорят, – да что вы.
Слышу: захлопнулись двери.

Интересно, чем он питается?

Эгвина Фет

ТЕЛА И КОСТЮМЫ

* * *

Я пришел к тебе с приветом...

А. Фет

и кто-нибудь,
чуть только солнце встало,
внесет торжественно
бездвижность бытия
[привет] –
густой как шерсть.
не трогай одеяла.
никто не Фет,
когда вся ночь ушла.

* * *

по дну бассейна в свиной масках
расхаживают гибкие гимнасты.
их узкие костюмы выдают
бесщадно изнуряющий их труд.
из трубок воздух жемчугом всплывает,
но, сталкиваясь с надглубинной силой,
перестает быть жемчугом и тает.
гимнаст гимнаста плечи обнимает,
гимнаст гимнаста за руку ведет.

я представляю и не представляю,
как с ними океан переплываю,
как материк песчаный весь усыпан
гимнастами – усталые тела
и сброшенные черные костюмы
змеиной кожей на песке. легла
косая тень от потолка до пола.
гимнастами бассейн снова полон.

кружение их по дну так занимает –
гимнаст гимнаста плечи обвивает,
гимнаст гимнаста за руку ведет

от наших берегов на берег тот,
где апельсины, обезьяны, попугаи
ни бед, ни угнетения не знают,
и только призрак Маркса или сфинкса
им иногда в ночном кошмаре снится.

Андрей Коровин

ИЗ КНИГИ «КАЛИМЭРА»

ОТ АВТОРА

Моя новая книга «Калимэра»¹ сложилась из стихов, написанных в 2019 году. Год для автора был плодотворный, стихов написалось много, хотелось показать их читателям. «Калимэра» по-гречески означает «доброе утро» или «добрый день». Этим названием я как будто бы лично здороваюсь с каждым читателем книги.

Для меня Греция, остров Крит – это начало европейской истории, основа современной цивилизации. Здесь родились поэзия и филология, история и мифология. Еще в детстве я полюбил древнегреческие мифы, и до сих пор они меня не отпускают. Особенно близки мне мифы об аргонавтах и о странствиях Одиссея – потому что это истории на вечные темы: о любви и верности, о дружбе и предательстве, о поиске своего предназначения и своего дома. Это истории, к которым я часто возвращаюсь, когда думаю о своей жизни. Главное в жизни – это путь, а аргонавты и Одиссей – мои спутники на этом пути.

На Крите, кажется, за каждым камнем скрываются древнегреческие боги. Я как-то спросил одну гречанку, есть ли в Греции поклонники культа Олимпийских богов, и очень удивился, когда она ответила, что нет. Мне кажется, древнегреческая мифология такая поэтичная, что в нее невозможно не поверить. Даже в России отмечают «праздник Нептуна», то есть фактически древнегреческого бога моря Посейдона.

И еще Крит – это, конечно, колыбель православия. Я как-то поехал на экскурсию «Православный Крит», мы объездили, кажется, весь остров, были в нескольких монастырях. И когда экскурсовод говорил, что этому дереву на территории монастыря, например, тысяча или полторы тысячи лет, у меня замирало сердце – как представить себе эту тысячу с лишним лет? Прикладываешь руку к дереву – как будто прикладываешься к самой Истории. И древние иконы в греческих монастырях – совсем не такие, как у нас: разная школа письма, разное выражение глаз, с ними говоришь, как будто молишься на другом языке.

¹ Андрей Коровин. Калимэра. Новые сказки и мифы народов мира: стихи. – М.: Фонд «Волошинский сентябрь», 2021.

Мне нравятся греческие приморские города – они очень уютны. В Малии я бродил по старому городу и видел пожилых гречанок, которые сидят на стульях перед своими домами, и пожилых греков, которые сидят в кафе со стаканчиком чего-нибудь, детей, которые играют в мяч на проезжей части старой улочки, как будто у себя во дворе. Очень порадовали гранаты на дверях домов – символ счастья и верности. На балконе увидел пожилую женщину, хотел ее сфотографировать, вопросительно показал ей на фотоаппарат, и она наполовину жестами, наполовину словами ответила мне: «Да вы что, меня муж убьет!» Улыбнулись друг другу, и я пошел дальше. Кстати, там, в старой Малии, увидел множество заброшенных домиков и удивился – неужели никто не покупает их, чтобы здесь жить?

Почти о каждом месте, которое я посетил на Крите, я написал стихотворение или песню. Запомнился Агиос-Николаос с его бездонным озером Вулизмени. Впечатлил остров Спиналонга – своей историей, крепостью, руинами. В Иерапетре и Кутсунари поразили какие-то особенно мощные ветра, которые едва не уносили людей и все окружающее в море.

Крит поражает своей неспешностью – кажется, здесь никто никуда не торопится. В Москве такое невозможно – здесь все всегда в цейтноте, всегда спешат, всегда опаздывают. Радует открытость и доброжелательность греков. Приятно удивило, когда гречанка-продавщица в Малии в магазинчике заговорила со мной на русском. Я спросил ее, откуда она знает язык, а она ответила, что считает для себя обязательным знать язык ее клиентов. Ее сын, который работает с ней в этом магазине, тоже выучил русский. А в Кутсунари в магазинчике работает бывшая москвичка Наташа, которая уже давно живет в Греции. Она нам помогала и с покупками, и с ориентацией на местности, рассказывала свою историю – как она влюбилась в грека еще в советское время и с большим трудом, но уехала в Грецию, чтобы завести с ним семью.

Вспоминаю один ресторанчик в пригороде Малии, который держат два хозяина-грека. Там замечательная живая музыка, а вечером танцоры бьют об пол тарелки и предлагают включиться в этот танец с битьем тарелок всем посетителям, а потом выводят гостей на улицу и танцуют с ними сиртаки.

В Средиземном море очень богатая морская фауна. В Кутсунари мы кормили у самого берега стаю рыбешек, которые смело плавали у нас вокруг ног. И цикады на Крите совершенно безумные – верещат почти круглые сутки. И, конечно, Крит – это океан оливковых деревьев. Самые вкусные оливки, по-моему, растут в Греции. На Крите впервые попробовал вино «рецина» и не то чтобы полюбил, но каждый раз пробую снова – у этого вина очень необычный вкус, а я

люблю все необычное. И еще обожаю греческое узо, всегда привожу с собой бутылочку домой.

Я бы с удовольствием пожил на Крите, как Горький в свое время жил на Капри. Мне кажется, что это отличное место для творчества. Хочется не только объехать весь остров, но и обойти его – я люблю узнавать новые места именно «ногами» – так лучше понимаешь, где ты оказался, можно поговорить с людьми, понаблюдать за их жизнью и бытом. Хочется походить с местными рыбаками в море. Думаю, что у меня родилось бы еще много стихов о Греции и Крите.

* * *

котенок играет с хвостом
ничто не меняется в мире
на этом ли свете на том
в бараке в общежитии в квартире
котенок играет с хвостом

порой в этом мире густом
так пусто что некуда деться
молитвою или постом
не всякое лечится сердце
котенок играет с хвостом

напомни мы снова живем
влюбляемся женимся плачем
какую-то пищу жуем
какую-то истину прячем
котенок играет с хвостом

котенок играет с хвостом
в Москве Петербурге Париже
в руинах на пляже пустом
то серый то черный то рыжий
котенок играет с хвостом
то дальше играет то ближе

* * *

хорошо быть маленькой страной
никому не нужной захудалой
быть ничьей мечтой или виной
тихой малолюдной и отсталой

пусть коровы бродят по шоссе
и автомобиль раз в год промчится
пусть грибы выходят по росе
чтобы с грибниками породниться

пусть мужчины травят на реке
байки про рыбалку и про блядки
и пока стоит стакан в руке
с этим государством всё в порядке

* * *

в Грузии
я чувствую себя грузином
могу пить по-грузински
могу петь по-грузински
могу даже понимать по-грузински

в Татарстане я чувствую себя татаринком
отзываюсь на имя Айрат
захожу помолиться в мечети
разглядываю в зеркале
свои татарские скулы

на Украине я чувствую себя украинцем
перехожу на суржик
перехожу на мадеру
перехожу в наступление
при виде местных красавиц

в Греции я чувствую себя греком
под кронами тысячелетних кипарисов
под сводами тысячелетних храмов
и особенно под водой
собирая старинные драхмы
под вековыми камнями

столько народов
живет во мне

стоит объехать весь свет
чтобы о них рассказать

КАЛИМЭРА

они говорят
калимэра Мария
они говорят
калимэра Камилла
эти мужчины на мотороллерах
эти мужчины на осликах
и далее комплименты
уже непередаваемые с древнегреческого
и только глаза у Марий
и только глаза у Камилл
вспыхивают черным светом
и застенчивая улыбка
раскрывает их губы

и мне тоже хочется говорить
калимэра Мария
калимэра Камилла
и ехать куда-то на ослике
по делам чрезвычайно важным
улыбаясь всем встречным Мариям
улыбаясь всем встречным Камиллам
и говорить комплименты
соленые как оливки
и сочные как томаты
и назначать свидания в городе
в баре у старой крепости
после захода огромного
как головка домашнего сыра
солнца

ТАНЦОВЩИЦА

ей едва ли за пятьдесят
но ее тело нерожавшей женщины
такое юное и упругое
словно ей только двадцать
ее груди не тронутые кормлением
полновесны и округлы
ее руки молоды и нежны
и только пальцы
отшлифованы временем

и вокруг глаз
разбежались паутинки ее улыбок
от которых она светится
будто бы изнутри

женщина сотканная
из солнечного света
светящаяся чтобы не погаснуть
летающая чтобы не споткнуться
танцующая чтобы не упасть

ДОЛГАЯ ТИХАЯ ЖИЗНЬ

если не ездить
в дальние страны
не видеть далеких гор и морей
иноплеменных красавиц
и огненосных драконов
черных львов пустыни
и пестрых ирбисов снежных гор
не вкушать иноземных блюд
не впивать солнценосных вин
не обонять амброзию
иноязычных цветов
не шелестеть купюрами
неизвестных царей
не отдавать их за инозвучные книги
не вступать в струи священных водопадов
и не пить воду из горных ручьев

можно прожить
долгую тихую жизнь

но зачем

ВОДОРАЗДЕЛ

река Ока
разделяет Тульскую и Московскую область

река Буг
разделяет Беларусь и Польшу

Атлантический океан
разделяет Старый и Новый Свет

арктические льды
разделяют Россию и Америку

страницы прочитанных книг
разделяют тебя и меня

УРОКИ РАССТАВАНИЯ

он никогда больше
ее не увидит
я видел как они
прощались на перроне в Туле
и что-то странное
было в ее движениях
в ее глазах
живших отдельно
друг от друга
и чем дальше
она удалялась от него
тем более прощальным
становился ее взгляд
и когда мы проехали Оку
я посмотрел на нее
и понял
она никогда не вернется
к своему
счастливому возлюбленному

* * *

голубь птица глупая потому что мира
ворон птица умная потому войны
говорили древние не твори кумира
но кумиры созданы в камне нам даны

выйдешь из Овидия в рощи Гесиода
видимо-невидимо в небе аонид
ласково посмотришься в ненависть народа
только рот откроешь телефон звонит

то звонили вороны объявить о мире
то звонили голуби объявить войну
пахнет воздух ладаном и немного смирной
кто возьмет за прошлое на себя вину

* * *

попынные тени на голом снегу
сумбурная графика света
зима – черно-белая живопись скул
холодная словно котлета

и стоит начать мониторить следы
мышей и лисиц и оленей
распуташь летопись чьей-то беды
но всё ж не запишешь из лени

а дальше пойдешь добавляя к зиме
ботинок своих отпечатки
покуда не канут в сгустившейся тьме
рисунки наброски перчатки

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Бэрн Уормсер

ДОРОГИ

Из книги «Песни с голоса»

Городок, в котором я вырос, был примечателен не зданиями, а дорогами. Таков характер этих мест, в глуши севера Соединенных Штатов, – всего лишь несколько индейских резерваций, а еще леса и озера. Красота вокруг, но приходилось мириться с зимними морозами, что мне так и не удалось. После того, как я уехал оттуда, я встретил парней из Канады, с которыми я играл, – вот они меня поняли, в смысле, где я вырос. Они знали, что, даже будучи окружен людьми и в доме, и в школе, и на улице, ты все равно мог быть очень одиноким. Затерянный в просторах земли и неба, ты чувствовал себя мизерным: Авраам Как-Там-Его живет в деревянном двухэтажном доме с арифметическим адресом – 225 Западная 8-я Улица, – как будто цифры что-то значат. Мое эго, как и у каждого, стремилось к воплощению, но я чувствовал, что никогда не подняться мне достаточно высоко и не пойти достаточно далеко. Человек так же ограничен, как его разум.

Дороги пролегали прямо. Если стоять на одном краю города и смотреть вдоль шоссе, можно было увидеть, как оно достигает другого конца города, а затем теряется за линией горизонта. С дорогами не поспоришь. В машине любой мог поглощать расстояния. Каждый казался себя хозяином, но у дорог своя жизнь. Летом, в жару, возникали миражи. Казалось, вы двигаетесь сквозь них, но оставить их позади невозможно. Зимой сугробы на обочинах превращали дороги в туннели. В дождь гладкое покрытие начинало сверкать, и была в этом своеобразная красота.

Дороги напоминали о смерти, о том, что примерно раз в полгода кто-нибудь – обычно подросток – теряет управление и разбивается. Дороги манили ехать быстро, но не из-за спешки, – ничего важного впереди не ожидало, – а из-за страстного желания, чтобы что-нибудь произошло, все равно, что именно. Быстрая езда была способом осуществить это желание, стать непредсказуемым в этом предсказуемом мире, взорвать пространство. Сесть в машину, уехать и не вернуться. Пообещать, что вернешься, – и не вернуться. Бодрое «до скорого» будет десятки лет звучать эхом. Смерть ожидала где-то там, куда можно доехать.

Бывало, я шел вдоль дороги, ощущая дуновение от редкой проносающейся машины и ветер, дующий на этих просторах день и ночь. Иногда никого вокруг не было, и тогда я шагал по середине дороги. Мне это нравилось. Я становился частью дороги, и дорога

была таким же Божьим творением, как и все в мире. Мы уважали дорогу. Дорога была необходима. Дорога говорила нам, что наша жизнь имеет смысл, может, не слишком глубокий, но все же некий смысл. Мы были частью живой геометрии прямых углов, линий, не имеющих никакого отношения к земле, но тесно связанных с тем, как поселенцы воспринимали эту землю – как то, что можно покорить и переустроить.

Мой отец и его брат владели компанией по перевозкам, называвшейся М&М, что означало «Макс и Майк». Их грузовики перевозили грузы по штатам Среднего Запада. По словам отца, дороги – «кровеносные сосуды страны». Он говорил это серьезно, и мне очень нравилось, когда он был серьезен в отношении чего-то помимо забот и денег. Он никогда не уезжал далеко, пожалуй, не был нигде дальше Миннеаполиса. Дороги не манили его так, как они манили меня. Они не были для него выходом из одиночества. Для него дороги просто соединяли пункты, которые существуют. Для меня же дороги соединяли места, которых еще нет, но которые оживут, стоит до них доехать.

Иногда можно было увидеть людей, голосующих в надежде остановить попутную машину. Это могли быть сезонные рабочие. Это могли быть бродяги. Это могли быть солдаты, получившие отпуск и старающиеся поскорее добраться до родной фермы, где-то далеко в стороне от местной дороги. Стоя на обочине дороги, они выглядели потерянными. Мы обычно проезжали мимо, потому что машина была полна, но мне всегда хотелось остановиться и послушать, что они могут сказать. Мне было интересно узнать, чувствуют ли они себя одинокими, глядя, как эти черные ленты дорог идут во всех направлениях и никогда не кончатся, и как, стараясь себе это представить, можно немного тронуться мозгами – потому что каждая дорога сулит выход куда-то, но выхода нет. Они меня, наверное, и не поняли бы. Не знаю, кто бы мог меня понять. Все было просто и ясно: дорога – это дорога, проза Американского прогресса.

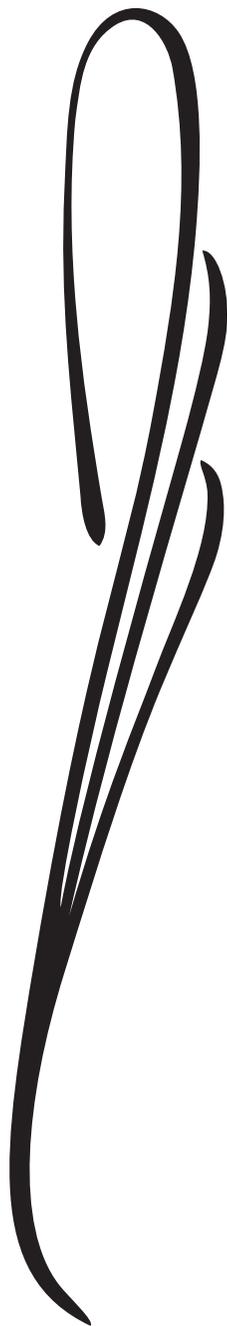
В моменты мечтаний, которыми я был полон, я мог вообразить, что я – дорога: вот я лежу неподвижно, по мне проезжают машины и грузовики, я чувствую их тепло и трение, но есть у меня и много спокойного времени, например ночью, когда можно видеть отраженный дорогой лунный свет. Тут нет никакой романтики. Не то чтобы вы могли предложить своей подруге: «Пойдем полюбуемся лунным светом на шоссе», – но было в этом нечто завораживающее, и мне это нравилось. Люди думают, что они могут контролировать дороги, ведь они их построили, – но это не так. «Это шоссе идет на запад, и вы можете доехать до такого-то города. Там остановка

автобуса». Я часто слышал подобные разговоры, когда я там жил, – каждое направление наделялось названием.

Все, что надо сделать, – это уехать отсюда, думал я. Хотел бы я знать, думал ли так каждый человек в Соединенных Штатах? Вот к чему звали дороги – поднимайся и отправляйся в путь! Если ты этого не сделал – с тобой что-то не в порядке. Ты не смог понять, что говорят тебе дороги. Ты не слушал. Тебе было наплевать, что новые места могут оказаться необыкновенными. Это были другие места – вот что для тебя было важно. Я же представлял себя человеком-мячиком, который скачет по дорогам отсюда – туда. Таков характер Америки – натяжение между одиночеством и движением. Если передвигаться достаточно активно, одиночество не догонит. Может даже показаться, что все места, в общем, похожи, что каждый где угодно может одинаково голосовать и получить ту же самую чашку кофе в любой забегаловке, где бы она ни находилась. Позднее я понял, что это неправда, но в юности я так думал. Бывало, я стоял на обочине у восточной окраины города, уставясь в пространство. Я не видел своего будущего, и не было у меня прошлого. Я видел только дорогу, медленно исчезающую на горизонте.

Перевод с английского Елены Ариан

ПОЭЗИЯ



Сергей Золотарев

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ

* * *

многие люди закрыты как сейфы
прочны а впрочем
многие люди открыты как селфи
сложены в «профиль»

мы же устроены как-то иначе
вписаны проще
в старые стены коломенской дачи
в голые рощи

это какой-то сложившийся этнос
поднятый ярус
дабы иметь что оставить на бедность
вредность и старость

ВЛЮБЛЕННАЯ КНИГА

веко стряхивает пепел
взгляда кончиком ресниц

книга видит человека
всеми буквами страниц

книга знает эту ощупь
книге делается проще
отдаваться на свету

сквозь нее давно пророщен
ум стирающий черту
к невеликому стыду

взгляда вдумчивого прикус
ей с девичества знаком

после малость пообвыклась
заскучала ни о ком

но еще остался – привкус
крови собственной во рту
когда буковки запрыгав
повалились на тахту

Д.А. Пригов

книге виделось обратно
в чрево автора залечь
превратиться в непонятку
в человеческую речь

сколько птиц на каждой букве
поселилось воробьев
столько раз нальет по булькам
колбу глаза до краев

книга видит человека
как библейского кита
проглотившего иону
книга этим занята

чтоб внесенную на отмель
и исторгнутую вон
у тебя ее не отнял
ни один магнитофон

* * *

свет всегда желтоват и белес потому что солома
потому что он выгорел в космосе сколько летел
потому что все лето проводит вне дома
и всегда не у дел

он выходит во двор и сидит на стене где в простенке
собираются тени и делают что-то в тени
только свет отражается так словно лузгает семки
и отсыплет любому их лишь пятерню протяни

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ

маленькие предметы
лежащие на земле

в массе своей нагреты
мыслями о тепле

вынуть бы еще жабры
изо всего
что огорчает жаркое
вещество

маленькие предметы
не именованы
на невнимании света
основаны
чувствуют себя новыми

ноги их давят в открытую
ноги идут поверх
как сумасшедший с бритвою

мы же склонимся с оптикой
даже и не стиха –
с увеличительной Оптиной
пустынью пустяка

что там под сыроглазым
взгляда бочком?
медом он что ли намазан
пчелиным натерт молочком?

отвали его камешек
видишь сколько под ним
понапрястано Ганнушка
теневого гопотни

все в потничке
полночные нычки

кочки вздрагивают
то ли за упокой
то ли за здравие
капли щебня и гравия
растеклись под ногой

если землю отнимут
мы навеки останемся с кем?

а поди на Великую схиму
наскребли микросхем

успокой их – в пустыне
мы в ответе за них
каждой точке отныне
соответствует миг

сколько будем мы вместе
столько будем блюсти
на земле равновесье
долей и частиц

и своим проживанием
упасем эту тьму
как тогда лошадей Пржевальского
в приближенье один к одному

Ольга Иванова

ПОСЛАНИЯ

В. Д.

греби и ты, кусая удила,
в свой мезозой, пока не огребла,
кидая перепончатые крыла

вслед уходящих по небу натур
[пишите письма, трегеры культур],
неизреченных их колоратур –

уже не птичь, а вдоль и поперечь
как надо, птеродактилева речь
журчи и ты, родимая, саундтречь

вокабулы в работу не беря
вне фабулы, помимо словаря
от фонаря
в ангаре января

ЛЮДЕ СЕКАЦКОЙ

*Перешагни, перескочи...
Ходасевич*

где голова снята под ноль,
но делова – как секретарша,
минуя май, июнь, июль
под бэк-вокал словесных пуль
и траблы траурного марша

[пущай слышнее с каждым днем
его медляк минор-бемольный],
переиграем – и шагнем
двуглавым шахматным конем –
в расстрельный список
[зимний... смольный...]

ПАМЯТЬ

И.Т., В.Д.

*усталость преодолевая
ища пенсне или ключи
переживи, душа живая
переплыви, переплывая
перешагни, перескочи*

навроде новенького ноя
[когда иного не дано] –
ее болото ледяное
ее надежное, двойное
ее резиновое дно

нехай и дело говорит,
и говорок ее заборист –
да над царями не царит
ее репильный фаворит,
ее властительный аорист!

UPDATE

здрави буди, силлабопаника!
ибо tabula rasa паблика –
где уже ни кнута, ни пряника
ни атлантики, ни кораблика

ни бордюра те, ни поребрика
ни фортуны перста облыжного
тока рубрика, тока реплика
в виде литер...
а что до ближнего –

ни раба его, ни села его
ни вола его, ни осла его
ни того его, ни сего его
ни [на выходе] самого его

* * *

в Божьи уши вжик да вжик
брось, игрушечный таджик
беспонтовую лопатку
на минутку отложи-к

не по делу, сирота
та святая борзота
бурямглоюнебокроет
отворяй-ка ворота

потепление – гонёж
[отопление – оно ж]
не ходи к нам, тетя грета
этак вовсе не уснешь

в чистом поле теремок
[потеряться под шумок]
да на деле, знамо дело
на двери – резной замок

перво-наперво – дрова
пассатижи – это два
тока лялька буйновата
да и люлька малова...

~~молвит ворон: «воронок»~~
молвит ворон-воронок:
«это родина, сынок»
под луной ничто не ново
[уплывая из-под ног]

топай, маленький, домой
не без удали немой
мимо тещиноного дома
нескончаемой зимой

Нина Косман

ЦИКЛ О ГОЛОВЕ

ЦИКЛ О ГОЛОВЕ

1.

А ты, что вошел сюда весь в перстнях,
но без головы,
оставь свои перстни у входа,
а голову надень – вон висят на крючках, как шляпы;
негоже без шляпы входить в мой дом.
Какую голову снимешь с крючка,
та и будет твоей:
снимешь голову убийцы –
станешь убийцей;
снимешь голову глупца –
станешь глупцом;
а вдруг повезет и достанется тебе голова мудреца
и проживешь мудрецом всю жизнь.
Так тебе и надо, скажут,
так тебе и –
за то, что не смог отличить хорошую голову от плохой,
за то, что не знал, не понял, не смог.
А будешь хныкать по дороге на казнь –
мол, все головы на крючках как одна,
что голова мудреца,
что голова убийцы –
так хнычь сколько влезет,
ты носитель своей головы, а не я,
ты ее властелин и хозяин,
с тебя и спросится.
А на эшафот поведут
не тебя, дурака с чужой головой убийцы,
а везунчика с головой мудреца:
ведь глупо выбирать голову в раздевалке, как шляпу,
не удосужившись посмотреть, что у нее внутри.

2.

Муэдзин мне голову оторвал
 на еврейскую пасху,
 и с этой оторванной головой
 я иду в костел.
 «Накапайте мне живой – святой, то есть, воды – в шею,
 чтобы голова приросла,
 и чтоб зажили поскорее – и шея, и голова.
 Священник строго посмотрел на меня.
 – Вы католичка?
 – Нет, – ответила я.
 – Так почему вы пришли в костел?
 – Муэдзин так громко пел, то есть молился,
 что голова слетела с шеи... оторвалась.
 Вот она. Я не знаю куда мне теперь с ней идти...
 – В синагогу, – говорит, – несите свою голову, раз вы еврейка.
 – Но в нашем районе нет синагог.
 – Здесь вам не место, мэм.
 Ничем не могу вам помочь.
 И я вернулась домой,
 с головой под мышкой.
 Моя оторванная голова истекает кровью,
 а глаза в ней живые и видят всё-всё-всё.

3.

Если ты пришел во дворец с мечом,
 вход для тебя закрыт.
 А если пришел без меча, но с ключом,
 добро пожаловать, друг мой Брутус.
 Если ты левую руку отрежешь и оставишь лежать на земле,
 вырастут из нее чудотворные ягоды,
 излечивающие от всего,
 кроме неумения думать.
 Если правую руку отрежешь и зароешь в саду,
 из нее вырастет маленькая дочка с крыльями вместо рук.
 А если отнесешь мой мозг на подносе в лес,
 вырастет из него Василиса премудрая,
 такая премудрая,
 что всей своей мудростью тебя, дурака, за пояс заткнет.
 А еще есть у Василисы платочек шелковый,
 в который тысячи таких, как ты, помалкивают.

Ну и ты молчи.
Если ногу отрежешь и подашь ее королю на обед –
что тебе будет?
Похвалят,
повысят в должности,
может, даже в камердинеры произведут,
не спросив –
согласен на повышение или нет?
Так что лучше, друг мой, не отрезай себе
ни ногу, ни руку,
живи, как есть, целый,
а то кто знает, к чему твое самопожертвование тебя приведет
и на чей обед достанется твоя шея.

4. НАПУТСТВИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРУ

Если ты не научился писать слово «казнь»
до того, как ты научился писать слово «помилование»,
друг мой Дантон,
тебе следовало бы идти в сторожа,
а не в революционеры;
и если ты, как нищий, войдешь в святилище
с отрубленной головой,
Бог тебе судья,
друг мой Дантон;
на то он и Бог, чтоб не каждому
входящему без головы на шею
милостыню подавать.
Не бойся, друг мой Дантон –
на то ты и революционер.
А чтобы страха не было ни в сердце твоём, ни в мизинце,
закаляй душу свою, учишь писать слово «казнь»
и следующее за ним слово: «плаха»,
друг мой Дантон,
ведь ты не мальчик,
не трус.
Друг мой Дантон,
умеющий плавать в крови,
как в море.
Утонувший в нём.

* * *

Тот, кто мне желал зла,
сам на себя его вызвал;
тот, кто мне ничего не желал,
остался ни с чем.
А того, кто желал мне добра,
судьба одарила щедро,
на то ведь она и судьба,
чтоб из желаний лепить суть.
Поняв это, я перестала желать:
за благосклонность судьбы платить –
чересчур высока цена.
Дай-ка, судьба, взглянуть
на того, кто желал мне зла:
в луже мочи и крови лежит,
под отрубленной головой – два крыла.
Поднять его да помочь прикрепить
крылья – к плечам, башку – на шею:
не для того, чтобы вместе жить,
а потому, что иначе не могу.
Не умею.

Александр Радашкевич

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

НАПРОТИВ

Когда я жил себя напротив, в необитаемых краях, где нежелательное лето и неподобная весна, мне снились сны постылой яви да память за душу драла, я складывал года в чулане, где дуются просроченные банки и киснут в склянках огурцы, и колесил по съёженному миру, разгуливая вязкую тоску и упиваясь дном бездонным, сквозящим радугами мглы, взлетал на качелях лианных по воле зеркальных ветров и рушился в тартарары, потом забрел к себе случайно на рюмку лунного вина с румяной бабушкиной пышкой, и мы друг друга не признали, но стали рядом зимовать, тасуя крапленые карты, листая истлевшие книги с улыбкой напрасных миров, где верят небу раз и никогда, где вял и я себя напротив, как вы, все вы, кто никогда себя не встретил на мимо прожитой земле.

В СТАРОМ ПАРКЕ

Следами мятными любви, тревожа птиц зазимовавших и вороша отпетую листву, весна нагая увлекает, тимпаном ветренным гремя, и та же холодная скамья, и тот же парк за облачком кудлатым, где я не я и ты не ты лепечем оглушенными губами всё ту же праведную чушь, развесив уши по плечам, витая бережно за эхом слов порожних. *О ты, последняя любовь*, ты канешь с первой в незабвенность.

Зеленый пруд дробит сиянье на мириады юрких звезд, шуршат плюмажи тополей, текут века тропой слепою, и наш ландшафт

обетованный последним солнцем к небу
пригвожден, а у дворца тапер лукавый
заводит что-то из бельканто, и тенор "basta!"
голосит, и в этом сне разминовений, рука
в руке, во взоре взор необратимый, душа
целует пепельные розы лазурной бабочкой
в разверстые уста.

ЧЕРНОГОРСКОЕ

А с морем мы всегда одни, оно не любит
нас, не презирает, не хочет, не ревнует и
даже хладнодушия отнюдь к нам не питает,
оно нас растворяет в себе, и с ним уже мы
не листаем предполагаемое прошлое, оно
нам свято открывает, что мы ничто, но всё,
и мы становимся бестрепетной скалой,
закатом, чайкой на лаковой волне и парусом
в крестах блаженно затонувшей каравеллы,
поверившей опять в подлунную любовь и
схронившей всё золото мира, и мы снова
становимся им, им, которое отвеча было
нами. А море, оно нам обещает нас, какими
мы и в грезах не бывали, ибо прекрасны,
как юные боги и древние дети, но лишь
те, что не знают об этом.

ДВЕРЬ

Всё на свете недвижимо, и проходим только
мы – мимо неба надувного, опрокинутого моря,
отлетевшего балкона и дорожного креста,
на котором никто не гадает, застилая туманом
глаза, где нас носит нечистая сила мимо кромки
восхода золотого, мимо мира, где нет нас в помине
на отплывших в себя островах. Мимо двери
соседа внизу, а ее запирают двое. «А где месьё?»
«Я сын. Его не стало в прошлый вторник... А вы
Саша? О вас он говорил». Любил зимой он белый
шарф и фетровую шляпу, подбивал себе сам
набойки на исхоженные каблуки, курил табак
душистый, ходил на рынок рано по субботам и

улыбался в тонкие усики, которые больше не носят.
Звали его Пьеро почему-то. У него за разглаженным тюлем, как со дна, тлел янтарь одинокого света, давно не звавший никого. Когда умирает сосед, остается пригвожденной сизая струйка дыма над запертой дверью, мимо которой немо проплыли тридцать зим, что я витаю на заоблачной мансарде.

ФИСТАШКА ТЫСЯЧА СЕМЬСОТ ВТОРОГО

Волглая тень, анаконды ветвей, расцветает фисташка, которой с лихвою три века, упираясь вовсю на железный костыль, и мне, кто любит нежно сетовать на жизнь, вдруг стыдно за себя. Я глажу шкуру крокодила, замшелую, которая была девичьей под королевскими перстами, когда Людовик нехотя садовничал под старость, бросив на тын августейший парик, и мы расходимся по суженым векам их коротать всегда впервые, хотя и мимо, пусть и зря, пока фисташковая вечность счет ее веснам снова забыла, пока та грядущее помнит и прошлого больше не ждет.

СМЕРТЬ ИДОЛА

*Патрик Жюве, звезда диско 70-х годов,
найден мертвым у себя в Барселоне.*

Из новостей

Земное мнится, нет, недолго, миганье славы серпантинной вперяется в рваные раны забвенья и зубоскальной нелюбви, всё изуверистей попытка зеркал, всё гаже шепот за спиной, и их находят в ванной, на полу или под мигающим экраном, а рядом ни души, кроме шприцев, бутылей, пилюль, и их под пыткой не признать в распухших тушах расфуфыренных или синюшных скелетах под сенью платиновых дисков и пыльных пальмовых призов с облезлой позолотой, и со стен на них даже не глянут златокудрые полубоги, жемчужно улыбаясь никому. Им кромсают лицо, раздувают бесцветные губы. Они, не смея постареть, обречены как заводные распевать до конца ту же песню, которая их убивает и за которую платят, их Голгофа черна и безлюдна, их

голубые кресты – из ледяного неона, их розы передозированы, а отчаянье пахнет пудрой, но плембу уже дана команда презирать, что обожал до умопомраченья, и они каменеют полвека на полых пьедесталах нелюбви, пока лучистый Аполлон не накинет астральную тогу, в элизии угасших звезд их привечая величаво.

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Минуя нехотя себя на треугольном перекрестке, я уйду в простые вещи, которые прежде чуждались меня, в пролесок, просинь и окно, в немые строки отрешенья – от велелепий и рулад, к которым питаю отменную тягу, за угол тупой, где природные ляпы вселяют надежду на худший исход, в дорожные грезы, витая над прорвой до неба седьмых, опечатанных врат, я растворяюсь в несвершеньях, как в обнажающей волне, и любви мне былые цепи, узлом лежащие в груди; я приручил обыкновенье, разбил рассветные сады над краем слившихся дорог, где стебелек пустой надежды сгибаем розою ветров, где причастился откровенью: во сне предвечных одиночеств вдвоем, втроем, по одному, пока нас твердь не съединит под синетканным омофором, хочешь быть счастлив, будь ради бога, а несчастным пребудешь и так. По островам обманной яви, сложившим зыбкую гряде, благословляя подручное небо и в срок понурых приземлений, и в пору праховых побед, минуя бережно себя на упраздненной переправе, я уйду в простые вещи, веками ждавшие меня.

Елена Севрюгина

ЗАПИШУ СЕБЕ ИМЯ

* * *

ну вот и все (а говорят – не лечит)
на третий день дышать немного легче,
январским сном сменяется страда,
и так легко не прятаться, а длиться,
листать метелью сломленные лица,
но верить, что «спокойно спит багдад»
теперь расположиться поуютней
и слушать, как невидимые лютни
играют возле сердца тишину,
которой было так ничтожно мало
в лазейках временного интервала,
с гармонией ведущего войну
ну вот и все – так бесконечно странно
вернуть себе моря, чужие страны
и все, что тихо плещется внутри,
а вот тебя, разросшегося в почве,
как будто нет, как будто сняли порчу –
и пустота... и не с кем говорить...
перетерпеть – и новой выйти в завтра,
перетерпеть – все кончится внезапно,
и снег, и лед, и ветер, и метель...
январскую помешивая пшенку,
я уплыву легко и отрешенно,
как ты хотел, как ты того хотел...

* * *

так вспоминают потерявшие память
одним махом
и стоят не зная что с этим делать
плакать или смеяться
грустить или радоваться
или же просто закрыть глаза
и ждать когда наваждение исчезнет
так бабушка
рассказывает своим внукам сказку
которую они уже слышали

в другой жизни в другом мире
 под другими именами
 может тильтиль и митиль
 почему люди
 рождаются в одном месте
 а живут в другом
 напрочь забывая кем они были
 что любили о чем мечтали
 наверное это наказание
 за страх быть собой
 за стремление поменять судьбу
 статус внешность работу
 место жительства
 это боязнь одиночества
 заставляет нас быть
 похожими на других
 но тсссс... вы слышите
 знакомые звуки
 складываются в буквы
 буквы в слова
 слова во фразы
 фразы в жизнь
 мою жизнь
 кто-то успел ее запомнить
 и сохранить
 значит я смогу вернуться обратно
 вернуться и стать собой

* * *

запишу себе имя –
 останется на века
 абрикосовым запахом
 шелестом сквозняка
 ты однажды уйдешь насовсем
 а пока пока
 запишу себе имя

будет влагой питать
 чьи-то реки и родники
 ледниковой разлукой
 стекая с моей руки
 нынче башни колодцы
 особенно маяки

остаются пустыми

но нет чувства такого

чтобы всего лишь раз

но нет света такого

чтобы навек погас

но нет смысла такого

чтобы из пары фраз

оттого чье-то имя

всегда согревает нас

согревай меня

зимним дыханием на окне

говори потому что

иначе спасенья нет

оставайся со мной

продолжайся внутри и вне

зыбким театром

моих дорогих

соляных теней

так надежнее

так верней

запишу себе имя...

Михаил Калинин

ГИМН НАД ВОДОЙ

* * *

кого Я люблю, того обличаю и наказываю –
тех, кто обвиняет, и тех, кто оправдывается

кто постит ролики с пятиминутками ненависти
и кто выходит в офлайн, спасая психику от потрясений

кто переводит псалмы проклятий на новояз войны
и кто смотрит на фото развалин, радостно бормоча «ну-ну»

...

Господи! нет у меня сил говорить все это
ношу аватар, говорящий о том, что жив, – но я мертв

нет, ты еще жив, возлюбленный Мой!
тому, кто привык к копипасту, больно вновь говорить от себя

в этом – вся ценность его посланий, пусть косноязычных
но посмотри – число подписчиков с той и другой стороны растет

...

так всматривайся, вникай в себя, свидетельствуй о том, что увидел
предлагай свои варианты решения поставленной задачи

она проста – оставаться заложником вечности
даже если есть возможность уйти через выделенный
для тебя коридор

* * *

не останавливайся

только в движении можно сохранять равновесие
остановка и падение – синонимы

ты не знаешь себя, ты выдумал себя прежнего –

так избавляйся на ходу от всего чуждого и наносного
вытряхивай все, что питало мнимое «я»
чтоб однажды, оглянувшись назад, увидеть:

твои прежние молитвы –
это рукописи, где вычеркнуто все от первого до последнего слова

* * *

питьевая вода, как и предсказывал учитель в школе в прошлом
столетия
продается за деньги в бутылках

нецифровые детство и отрочество засушены в Википедии
рядом с ацтеками, гоминидами и скелетом мамонта

страны, в которой я родился, давно нет на карте
да и была ли она вообще
или все это было сном, порой спрашиваю сам себя

...

твои воспоминания не нужны никому, юзер исчезнувшей эпохи
так у ранних Стругацких герои, вернувшиеся из первой звездной
обнаружили, что они – реликты в мире, обогнавшем их на
столетия

цитаты, которые ты начинаешь, сегодня не продолжит и один
из тысячи

...

так для чего ты живешь?

ради удовольствия от процесса проживания каждого
из отпущенных дней
фиксируя особенно яркие моменты в набиваемых строчках

(для них всегда найдется место
на бездонных, как Магелланово облако, серверах)

...

и мое ежедневное благодарение – за системы поиска
(благослови, Боже, их создателей!)

позволяющие в неощутимой, обманчивой, призрачной
равнодушно-хищной реальности
в несколько кликов перебрасывать хрупкие и надежные мосты
достигая тех, в ком нуждаешься как в воздухе

привычно, не глядя на клавиатуру, загоняя, словно в сигналы
морзянки
в килобайты вербальных сообщений неутолимую жажду
общения –

единственную валюту, не потерявшую веса
в мире, принудительно отформатированном в который раз.

* * *

во время снятия печатей – до стихов ли?

если сегодня заполняются последние страницы книг
что будут открыты на предстоящем суде –

стоит ли записывать и мучительно править текст
чтоб успеть выложить его в общий доступ еще не отключенной
сети?

...

да – если в нем есть свидетельство о Проходящем сквозь
запертые двери

...

пока падают звезды, как перезревшие смоквы
и сворачиваются, как свитки, пиксельные экраны
постой еще, сколько есть времени, в пустой гробнице –

не в силах оторвать взгляд от пустых погребальных пелен
тихо белеющих в полумраке

ГИМН НАД ВОДОЙ

*– Что ты будешь делать, если вдруг окажешься на тонущем судне?
– Я сыграю гимн “O God, Our Help In Ages Past”.*

будь я на Титанике, когда он погружался –
не дрался бы за спасательные жилеты, не протискивался
к шлюпкам

я был бы вместе со святыми, которые играли до конца
*(они исполняли гимн «Ближе к Тебе, Господи» в тот момент, когда
волны накрыли их)*

я стоял бы рядом с ними и подпевал

...

когда все вокруг уходит в ледяную тьму, самое лучшее –
быть рядом со святыми

когда каждый из них, прижав к себе инструмент, сосредоточен
на том
чтоб слышать остальных и не сбиваться с партитуры
несмотря на царящий вокруг ад

это и есть задача святых –

играть, отбрасывая помыслы о том, сколько времени еще осталось
не обращая внимания на возрастающий крен палубы

...

и пока они стоят – музыка льется над океаном
звуча в памяти уцелевших сильнее, чем все услышанные
за жизнь проповеди

Ирина Ермакова

ЛОВЕЦ НЕНАГЛЯДНЫЙ

Из книги «Легче легкого»

Поэзию Ирины Ермаковой хочется назвать поэзией непредвиденного, столь внезапны и убедительны ее находки – звука в беззвучии, движения в неподвижности, пластичной кинетики запечатленного момента, динамики неосязаемого... Так – незаметно для глаза – «душа растет в почти ненужном теле», так «медленный колокол ходит в груди», так – подлинно и честно – воссоздаются «детали подробностей неуловимых». Осязаем звук и его длительное эхо, осязаемы дыхательные паузы намеренно пропущенных тире, осязаем дух – «легче легкого». Неслучайно именно так названа новая книга стихотворений Ирины Ермаковой: «Легче легкого»¹. И чем прозрачнее вещественное в этих стихотворениях, тем явственней духовное. Будто поэт, обращенный к дрящемуся прошлому и – почти одновременно – к моментальному настоящему, то заклинает, то приказывает памяти: «стой солнце стой! гори гори». И тогда пространство и время – со всем заключенным в них живым-неживым скарбом – послушно покоряются призыву.

Марина Гарбер

* * *

Незрелый август отрывает плод,
И плод, щеками толстыми сверкая,
невидимое время рассекая,
без тормозов по воздуху плывет.

В нем тикает неслышимый завод,
На нем прозрачно кожа тугая
пульсирует, а жизнь кругом такая,
что только зацепи, и всё взорвет.

А плод глядит в себя, не замечая,
как на земле трепещет каждый лист,
рассеянно холодный свет вращая,
поет себе, зеленый аутист.

¹ Ирина Ермакова. Легче легкого. Книга стихов. – М.: Воймега: Ростов-на-Дону: Prosodia, 2021. (Серия «Действующие лица»)

Душа растёт в почти ненужном теле.
Так происходит жизнь на самом деле.

* * *

ловец ненаглядный сидит над водой
на склоне на лоне на фоне погоды
моллюском оброс бородой лебедой
а годы проходят всё лучшие годы

а медленный колокол ходит в груди
сминает ли ребра гудит ли по ком-то
да так что ни дрогнуть ни глаз отвести
от вечно другой полосы горизонта

забытая снасть растворилась в траве
светила текут проливаются грозы
и гнезда свивая в его голове
трепещут идеи пустоты стрекозы

мерцает улов неотвязно паря
о солнечный лотос! о лица любимых!
детали подробностей неуловимых
скользящие мимо

нездешний за ворот бежит холодок
плывут пароходы летят самолеты
салют тебе ловчий лохматый цветок
волшебный итог невозможной свободы

СНЕГИРЬ

когда хоронили маму сверкал мороз
и солнце ломалось в автобусном стекле
смерзлись комья Земли не было слез
а воздух был одной ледяной глыбой

в маленьком украинском городке

покачиваясь текли как приток Днепра
медленно не расплескивая тишины

у края ямы горел фонарь снегиря
и снег скрипел и скрипел под ногами

мама мороз и солнце река людей

помянув оттаяв вышли в ночь провожать
(память гудела как звезды над головой
как трансформаторная будка на углу
как сумасшедший шмель над цветущей травой)
вспоминали далекое голод войну
а потом смешное родное и отец
распахнув пальто смеялся со всеми

и невозможно сказать ему запахнись

на углу обнялись
рассчитались на мертвый живой
(жизнь уходила в распахнутом пьяном пальто)
до свиданья вспыхнуло как снегирь у входа
все говорили на русском это было до

накануне четырнадцатого года

* * *

прогибает волны ветер взлетный
может и не ветер дело к ночи
может это дух такой свободный
бесится и правит как захочет

дразнит пальму и она раскрыла
раскатала грузные ветрила
рвется-машет ворох перьев черных
лампочки в гирляндах рассеченных
вспышек перевернутые лица
море злится
в нем кипят чернила

сколько ни ломай за веткой ветку
сколько ни дрожи огнями в кроне
как ни отрывайся – вяжут корни
это можно только человеку
ночью
моря буйного на фоне

человек всё легче с каждой датой
всё прозрачнее с минутой каждой
он глядится в беглый блеск мазута
золотого на волне горбатой
думает волнуясь: вот минута
или не минута но однажды
станешь духом и взлетишь отсюда

* * *

ветер несет собою
лета шуршащий лом
праздничною толпою
в воздухе золотом
перемещает лица
легкая благодать
прежде чем заземлиться
хочется полетать
крутит восьмерку в танце
броская лепота
храбрые оторванцы
высохшего куста
вьются летучкой беглой
в крайнем луче горя
реют летягой-белкой
огненной октября
поздняя карнавальность
солнечного литья
легкость твоя летальность
ветренная твоя
пущенная на ветер

в желтую дрожь взлетит
мертвые листья ветер
над головой несет

* * *

не мова
не суржик
не язык
что-то другое
что живет собственной жизнью

само по себе живет
 внутри головы
 и говорит говорит само с собой
 думает: никто не слышит
 думает: кругом так шумно
 все говорят в свои телефоны
 все
 говорят говорят

как говорят Остап с Андрием
 с двух сторон родимой ямы
 с выжженной по краю травой
 как ты мог брат? – молчит Остап
 а ты? – молчит Андрий
 ты чего совсем? – молчит Остап
 а ты? – молчит Андрий
 яма ширится

сонце низенько

вечір близенько

в голове смеркается
 в голове осыпается чернозем
 шуршит шуршит
 алло?
 из пространства немного
 гудки помехи гудки
 абонент недоступен
 нет
 не язык
 не суржик
 не мова

МАЙ

стоишь на одном из семи холмов
 на юг смотришь на юг
 взгляд несетя горячим псом
 тысяча верст не крюк

домой несетя распахнута пасть
 вывалился язык
 язык знает он доведет
 пес летит напрямик

родные подробности сколько раз
 листал их туда-сюда
 куст помашет пропляшет мост
 сияет в реке вода

сбегаются домики сколько лет
 верстаешь эти столбы
 огонь!
 дорога встает на дыбы
 огонь!
 закипает свет

и растерянный мир накрывает пар
 пес мчится на всех парах
 парит бумерангом кривой слезой
 сорвавшейся впопыхах

чадит одуванчик искрит сирень
 трещат берега реки
 огонь стеной кругом ничком
 паленые мотыльки

стоишь разодранный напололам
 на две свои родины две любви
 на дом и дом на тут и там
 май горит
 и река шипит

и пес прижался к ногам

КЕРЧЬ

маме

А южнее
зима уже прошла
дождь перестал, миновал
время
настало в стране нашей

Помнишь дом с камышовой крышей
 на белой стене
 граффити

иероглиф «И»
и египетский бог Тот
с головой сокола

Около
яблони
муравей-мотороллер
с кузовом битого кирпича
яблоня обло цветет
томная плавная
(после-после –
облетит и выгнется
и, как лошадь, вся в яблоках
задрожит, красными
копытами в землю стуча)

Жизнь горяча
стрелы ее огненные
особенно в марте

Пустота двора оплавлена
солнцем
и блестит, плавая
над грядками на спине

Солнце
сильнее смерти
главное, как всегда, скрыто
мелочь травная
больно звенит: ко мне, ко мне

Не
промахнись душа-*Суламита*
возвращаясь сюда во сне

* * *

Вечер падает и накрывает
городок над великой рекой,
заряжает прохладный покой,
так, накинув платок, умиряют
клетку с птицею дорогой.

Тянет жареной рыбою, ленью,
сытой тишью, намокшей травой,
не остывшим еще вареньем,
поздним пеньем, покуда тени
уплотняются на мостовой.

Тьма течет вдоль беленых заборов,
вдоль глядящих в упор садов,
вдоль тяжелых ворот, затворов,
затухающих разговоров,
пересохших на солнце годов.

В ней купается дурочка-память
птахой гоголем с хохолком,
всё бы ей возвращаться и плавать,
кувыркаться и крякать, и править,
облетая родительский дом.

Ночь внезапна, прозрачно черна,
что ни гоголь, то галя-луна.
Мечет бликов подводные стаи,
виринае, лунае, гукае,
память помнит свои имена.

Прихотливые правки невольны –
росчерк перышка, лапка, глазок,
не обиды, не беды, не войны,
только мягкие детские волны
в белый-белый днепровский песок.

* * *

день прогорел почти остыло что так рябило горячо
и только дневное светило еще цепляется еще
за шпиль за крышу но правее скользит сквозь мокрый блеск
ракет
от напряженья багровея на голом воздухе висит

о солнечная неизбежность исчезновенья за чертой

пока небрежность и поспешность не закатали с головой
возможно всё мой свет пока горит холодная река
и каждый отблеск жжет как жалость и медлит шар с огнем внутри
секунда красная осталась: стой солнце стой! гори гори

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Лилия Газизова

ОСЕНЬ ПАСТИРМЫ

Адану унесет сель, а Кайсери – ветер... Так гласит турецкая поговорка. Кайсери – это город ветров и циклонов, а еще молниеносно меняющейся погоды, из-за которой не всегда можно увидеть потухший две с половиной тысячи лет назад вулкан Эрджиэс, у основания которого и расположился город. Облака-тучи порой надежно прячут его от людских глаз. В течение дня здесь можно наблюдать четыре времени года. Местные так и говорят, кивая задумчиво головой, в любом разговоре о погоде: «Это Кайсери...»

Кайсери владели ассирийцы и хеты, сельджуки и монголы, римляне и византийцы. До нашей эры город имел несколько названий: Канеш, Карум, Мазака и Евсебия. Тщеславный римский император Тиберий в I в. н.э. переименовал город в Кесарию (в честь Кесаря, то есть себя), отсюда происходит его нынешнее название. Кайсери еще называют воротами в Каппадокию – дивное место, где остановилось время...

Город находится на высоте 1043 метра, умеренное и целебное высокогорье, которое я никак не ощущаю. Но некоторые проходят через нелегкую акклиматизацию. Главная достопримечательность города – потухший вулкан Эрджиэс, который дал название университету, где я преподаю. Его высота почти 4000 метров. И, как Эйфелева башня, он виден отовсюду.

...Меня порой изумляет отношение турок ко времени. К своему и чужому. Здесь не торопятся. И торопить турок не стоит. Как здесь все при этом работает, просто загадка. В юности я приходила на любовные свидания точно ко времени, но, понимая, что девушка должна быть немного ветреной, кружила по соседним улицам, чтобы опоздать хотя бы на пятнадцать минут. Всегда считала опоздание чем-то недостойным приличного человека. Но оказалось, что к подобному можно привыкнуть и даже начать находить плюсы. Если другие не волнуются, то, возможно, и мне не стоит. А вот самолеты Turkish Airlines, к счастью, отличаются пунктуальностью. Эта авиакомпания – как «Аэрофлот» в России, такая же государственная и брендовая. Но есть еще турецкий лоукостер Pegasus. Каждый его вылет задерживается как минимум на полчаса. К этому надо просто быть готовой. И у меня это стало получаться.

Сообразно своей ментальности турки не склонны драматизировать жизнь, ни свою, ни чужую. При этом они искренни и отзывчивы к чужой беде. Для них дело чести – помочь ближнему. И сделают они это без лишних просьб и уговоров. Периодически я захопываю дверь своей студии, оставив ключ внутри. И никто из соседей ни разу не отказался помочь открыть дверь. Один даже влез в маленькое окно. Потом я долго смотрела на него (окно), пытаясь понять, как он все же проник в помещение. Коллега с факультета изящных искусств с готовностью взялся починить велосипед, когда из-за какой-то отлетевшей гайки я упала с него по дороге из универа. Вначале, правда, он предложил мне чай или кофе, чем неслуханно удивил меня. Мы ведь привыкли, что вначале дело, а потом все остальное. Здесь же вначале слово (неторопливая беседа) и чай-кофе, а остальное может подождать.

Здесь нет понятия «бабье лето». Но есть «пастирма язы». Переводится как «осень пастирмы» (так и хочется сказать: осень патриарха). Наверное, это время приготовления пастирмы, которая готовилась в странах, расположенных на территории бывшей Османской империи. Мясо конины помещали под седло лошади, где от тяжести всадника из него выходили лишние соки. При этом мясо пропитывалось потом лошади. Точное место происхождения пастирмы неизвестно, в разных источниках называются Турция и Армения. Но именно Кайсери славится правильным рецептом ее приготовления. Когда я бываю на центральном базаре, обязательно пробую у разных продавцов это мясо.

Один из самых любимых персонажей турецких студентов – это Обломов. В экзаменационный билет обязательно вписываю вопрос о любимой одежде Обломова, коей является турецкий халат. Одна из самых старательных студенток, Шейма, приходящая на каждое занятие в новом красивом хиджабе, не может простить Андрею Штольцу женитьбу на Ольге Ильинской. С жаром объясняет остальным, что так поступать нельзя. Ведь Ильинскую любил его друг Обломов. Другие вяло соглашаются. Вяло не потому, что не согласны (подавляющее большинство турок, в том числе и студенты, поборники строгой семейной морали), а потому, что лень что-то прибавить к этому.

Разбираем сюжет «Бедной Лизы» Карамзина. Читаем отрывки из повести и выдержки из критических статей. Встречается незнакомое студентам слово «соблазнить». По сюжету повести Эраст соблазнил Лизу. Студенты спрашивают, что означает это слово. Мучительно ишу синонимы. Ни абсолютные, ни стилиевые не «прокатят»,

студенты просто не «догонят» в силу слабого знания языка, ибо это первый курс. Ни «совратить», ни «обольстить», естественно, тоже ничего им не говорят. Нужно назвать все еще более своими словами. Мнусь, краснею, наконец выдавливаю из себя: «Это значит, что у них произошел секс». Далее рассказываю о морали XVIII века в России.

Когда закончился экзамен у второкурсников по русской литературе XIX века, ко мне подошли студентки Шифа и Шейма с очень взволнованными лицами и спросили, кто же автор стихотворения «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...». И с надеждой повторяли: «Хоть бы Фет, хоть бы Фет!» В экзаменационном вопросе было четыре варианта ответа: Пушкин, Тютчев, Фет и Тургенев. В итоге они все равно набрали высокие баллы, поскольку на остальные вопросы ответили правильно.

На четвертом курсе обсуждаем рассказ Платонова «Юшка». Когда студенты читают и анализируют отрывки, с интересом наблюдаю за ними. Судьба несчастного Юшки очень их трогает. У двоих студентов (не студенток) на глазах выступают слезы. Сколько по земле бродит Юшек: русских, турецких, да не важно каких! У Юшек нет национальностей. Есть только большое сердце, которое способно любить всех, даже самых злых и диких.

Порой я разыгрываю перед студентами пантомимы, объясняя то или иное слово или понятие. В одной сцене из романа XIX века барышня после бала снимала мушки с лица, а затем фижмы. Пришлось рисовать на доске эти самые фижмы (иначе говоря, каркас), которые позволяют нижней части платья быть похожей на колокол. Фижмы обычно делали из пластин китового уса. Ни фижм, ни мушек в старинной турецкой жизни, естественно, не существовало.

В одном из современных рассказов действие происходит в коммунальной квартире. Объясняю. Ахмет через какое-то время восклицает: «Это как хостел!» Через паузу удивления и осмысления соглашаюсь: да, немного похоже.

Наши студенты интересно прощаются. Они порой не могут дифференцировать встречу и расставание. Поэтому, прощаясь, говорят: «Добрый день!» Или: «Добрый вечер!» Говорится это на ходу, когда они стремительно выходят из кабинета или аудитории, поэтому даже не успеваю поправить их. А теперь и не поправляю. Мне эти неправильности стали нравиться. Тем более, я веду курс литературы, а не грамматики.

Побывала в Каппадокии с Эдит Гильберт, известным филологом и театральным критиком из Венгрии, которая дала несколько лекций в нашем университете. Все же Каппадокия невероятное место. Там даже дышится по-другому. Необычные, в виде конуса, образования из туфа напоминают перевернутые толстые сосульки или детские формочки из песка. Трудно определить их точный цвет: оттенки коричневого, желтого и терракотового, то есть очень земные и теплые цвета. И очень много неба. Больше, чем везде. А когда много неба, о пустом не думается. И о вечном не думается, об этом давно не думаю. Скорее, просто впитываю лунный пейзаж. Рассматриваю подробности местности, трогаю шершавые камни.

Вся наша прогулка по холмам – это сплошные подъемы и спуски. Но усталость не наступала. Видимо, в силу особенного состава воздуха и особого настроения. Каппадокия напоминает пчелиные соты. Множество отверстий, лазеек, щелей. Легко представлялось, как в этих скалах прятались ранние христиане или разбойники. Но вначале в скалистых пещерах жили троглодиты (пещерные люди). Много церквей в скалах. Сохранились фрески X–XI веков, изображающие богов и ангелов. Многие лица замазаны белым. Думаю, это произошло значительно позднее, когда в эту местность пришли мусульмане...

Впервые так много говорила на турецком, в котором, кажется, изрядно продвинулась. Его почти хватает для бытового общения. В университете говорю преимущественно по-русски. Я – нэтив для студентов. На своих занятиях преподаватели-турки переходят на турецкий, если надо объяснить что-то сложное или совсем непонятное. Я не перехожу.

В Кайсери часто поднимается сильный ветер. И кружит последние турецкие листья, собирая их в стаи, как собак. А шорох листьев постепенно становится особенно яростным и даже угрожающим. Такое шуршание с легким поскрипыванием издавали бы упавшие на землю маковые коробочки, если бы их ворошил или перемещал с места на место сильный ветер. Однажды, когда я возвращалась на велосипеде из универа, ветер поначалу дул в спину, и я перестала крутить педали, доверяясь ветряному двигателю. Но после двух поворотов он стал дуть в лицо. И в какой-то момент я ему проиграла: пришлось остановиться.

Над моим коттеджем нависает невероятных размеров ива. И сейчас наступило время ее освобождения от бранных листьев. День и ночь они сыплутся и сыплутся. И неизвестно, когда это закончится. Такое ощущение, что там, наверху, хранится неисчерпаемый

запас листьев. Говорят, в нашем *билимтеси* (месте, где живут иностранные преподаватели) убрали ставку садовника.

Бывая в России и Америке, приходится отвечать на вопросы о сегодняшней Турции, в частности об исламизации – например, на моей встрече с аспирантами Иллинойского университета. Разговоры об исламизации имеют под собой основания. Это постепенный, последовательный и неуклонный процесс. Но я бы оспорила этот термин – «исламизация». Ничего нового, чего бы здесь не было, сегодня не происходит. Идет возвращение старых норм и старых ценностей. При этом завоевания республики Ататюрка в основном сохраняются. Для меня очевидно, что Турция всегда была не особенно открытой страной для европейского влияния. И европейские нормы прививались с трудом, поэтому и начинают растворяться под воздействием исламского фактора. Пока я наблюдаю вокруг себя *софт ислам*. Хотя живу в Турции глубинной, где вековые традиции, вместе со всеми европейскими нормами, органично и парадоксально продолжают влиять на жизнь обычных граждан. Но слишком непрепрезентативен мой турецкий опыт. Моя университетская жизнь и почти постоянное пребывание в кампусе не позволяют делать обобщающие выводы.

В 2012 году в Турции отменили запрет на ношение хиджаба для студенток, депутатов и адвокатов. Лично мне разрешение носить хиджаб представляется очень разумным, поскольку он неотъемлемая часть турецкой культуры и ислама. И я не вижу никаких ущемлений женских прав касательно этой прекрасной мусульманской одежды. Более того, ущемлением женских прав был запрет на ношение хиджаба!

После того как кемалисты пришли к власти в 1923 году, первое, что они сделали, это отделили религию от государства, запретили ношение паранджи, фесок и т.д. Среди турецкого руководства и обычных жителей стала популяризоваться и даже насаждаться европейская одежда. Вот интересная цитата Ататюрка: «В деревнях и городах я вижу, что лица женщин, наших товарищей, полностью прикрыты. Я уверен, что это доставляет им мучение, особенно в жаркое время. Друзья мои, все это результат нашего эгоизма. Будем честны и внимательны. Наши женщины чувствуют и мыслят, как мы. Пусть они покажут свои лица миру и сами внимательно смотрят на мир. Нечего бояться». Ататюрк не был против ислама, но считал его тормозом в прогрессе.

На наших занятих по русской литературе тема ислама обычно не поднимается. Скорее уж говорим о христианстве, без которого невозможно понимание большинства произведений русской классической литературы. Недавно рассказывала о семи смертных грехах и, в частности, унынии. Насколько я вижу, их вера не мешает моим студентам воспринимать тексты русских писателей, в том числе современных. И не дает какого-то иного угла зрения, нежели человеческий.

Но с исламизацией сопряжен ряд непопулярных в Турции вопросов, которые активно обсуждаются как мировой общественностью, так и турецкой. Связаны они в основном с действующим ныне президентом страны. Понятное дело, я не буду касаться их по многим причинам. И в первую очередь по причине того, что не владею достаточной информацией. Не хочу ретранслировать искаженную информацию, которой переполнены как российские, так и мировые новостные сайты.

Побывала на встрече русских жен Кайсери, участников фейсбучной группы «Русские в Кайсери». Привел меня туда антропологический интерес к своим соотечественницам, выбравшим в мужья турок и переехавшим на ПМЖ на их родину. Одна девушка пришла на встречу со своей свекровью. Говорит, просто проводила. Но турецкая свекровь, прежде чем пойти по своим делам, грозно оглядела нас, и все приуменьли. Встретились мы у входа в торговый центр «Кайсери форум». Всего их два в нашем городе. Есть еще «Кайсери Парк». И они не только торговые, но и культурные центры, здесь встречаются, проводят время. Как везде, наверное. На верхнем этаже много разных кафешек, в том числе любимый молодежью «Макдоналдс».

Практически все участницы группы «Русские в Кайсери», которую правильнее было бы назвать «Русские жены Кайсери», кроме одной, познакомились со своими будущими мужьями в интернете. Их родители – все без исключения – поначалу отнеслись крайне негативно к их будущим мужьям. Девушки подробно рассказывали, как их пугали: будешь пятой женой в гареме, увезет к себе и сдадет шахидкой, погуляет с тобой и бросит, отберет все деньги... Много вариантов, не все запомнила. Почти никто не работает. Занимаются детьми и семьей. Но хотели бы работать. Просто здесь не так просто найти работу по их специальностям: психология, экономика, менеджмент. Одна из девушек на мой вопрос «Чем занимаетесь?» ответила: «Деградируем». Собирается записаться в фитнес-центр. Обсуждали, какой лучше. Кто-то здесь уже десять лет, остальные

поменьше. Все прекрасно выглядят, и в глазах есть тот огонь, который выдает любящую и любимую женщину. Надеюсь, не ошибаюсь.

Я не видела здесь ни разу, как целуются парень с девушкой. Молодые пары могут держаться за руки и смотреть друг на друга влюбленными глазами. И всё. Вообще, в исконной турецкой культуре мужчины публично ведут себя довольно сдержанно с женщинами. При этом трогательно здороваются друг с другом. Женщины приветствуются сдержанным рукопожатием, а между собой турецкие мужчины обмениваются жаркими объятиями и поцелуями в обе щеки, начиная с правой. Иногда они касаются друг друга лбами и на какое-то время замирают. Всеми этому я бываю ежедневно свидетелем и привыкла к этому.

Иногда замечаю, что пожилые мужчины в Кайсери с неодобрением смотрят на меня. Оказывается, я смотрю им слишком прямо в глаза. Об этом мне сказала моя коллега. А как смотреть не слишком прямо, не уточнила. Но, возможно, мое поведение действительно немного отличается от общепринятого здесь. Около старой крепости в центре есть небольшой квартал чистильщиков обуви. Их клиенты, естественно, мужчины. Когда же я села на место клиента перед чистильщиком, он долго смотрел на меня и не мог понять, чего я хочу от него. Но ботинки мои почистил. И стоило это 8 лир. Копейки по нашим меркам. Проходящие мимо мужчины чуть шеи не свернули, разглядывая, как я восседаю на высоком стуле.

В новогоднюю неделю в Кайсери было пасмурно. Эрджиэс почти не проглядывал из-за облаков и туманов. И от этого моя картина мира была неполной. Низкие тучи ограничивали пространство. Город словно оказался в белом плену. Новогодняя иллюминация могла бы украсить Кайсери. Но ее не было. Город не встречал Новый год. Он входил сам.

Ни духа Рождества, ни ханукальных свечей, ни запаха Нового года! Ни в кампусе, ни внутри университетских зданий, ни даже в центре города нет ни одной украшенной елочки, никакой иллюминации или чего-нибудь подобного. А чего я хотела? Это страна, более девяноста процентов жителей которой исповедуют ислам. Празднование Нового года не запрещается, но и не поощряется. В курортных городах и Стамбуле, где индустрия развлечений более развита, чем в Кайсери, наверное, что-то новогоднее и происходит.

Известие о землетрясении в Турции меня застало в Нью-Йорке. Первым мне написал об этом московский поэт и друг Саша Перевер-

зин, после чего я начала лихорадочно искать в интернете информацию и писать своим друзьям-коллегам, всё ли в порядке дома. Мои американские друзья с большим сочувствием отнеслись к гибели людей при землетрясении и интересовались, не пострадали ли мои близкие. Равно как и друзья из других стран, написавших мне и выразивших соболезнования. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. Кайсери был назван в списке примерно дюжины городов, где также ощущались подземные толчки, правда, не более 4–5 баллов. Моя коллега и соседка по коттеджу не сразу поняла, что происходит. Она подумала, что из-за высокого давления все вокруг стало немного размываться и дрожать. Она же припомнила мое стихотворение, написанное за неделю до землетрясения, в котором Кайсери унесет ветер...

Вообще, Турция в будущем, по прогнозу специалистов, обещает быть сейсмически непредсказуемым районом. Обновлена карта сейсмической активности, в которой обозначены самые опасные места предполагаемых подземных толчков. Надеюсь, обойдется без жертв... Вот и сообщение о новом землетрясении: 28 января 2020 года в районе Кыркагач турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,8. Пишут, что очаг землетрясения залегал на глубине около семи километров. Не знаю, о чем это говорит. Не разбираюсь. Надеюсь, и не придется.

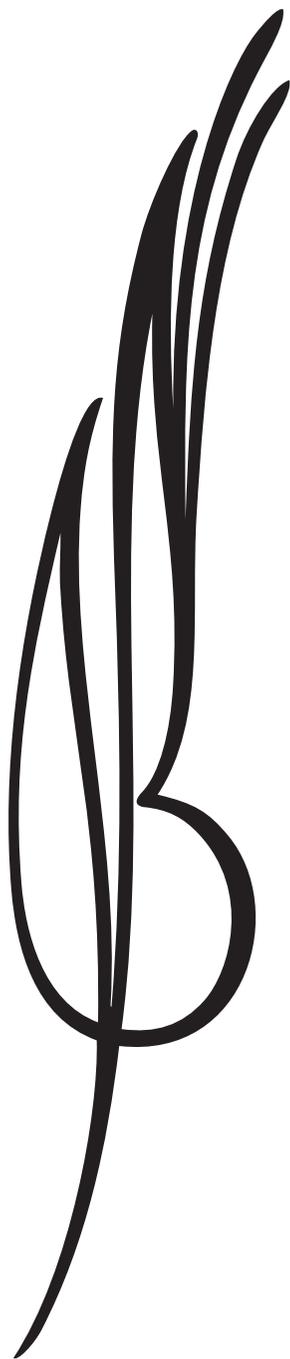
В одно из возвращений в Кайсери перед моим самолетом приземлился борт из Медины с паломниками и паломницами, совершившими хадж в Мекку. И все они отличались от других людей в зале какими-то особенно одухотворенными лицами. Мои предки по отцу были мусульманами... На багажной ленте, к которой невозможно было приблизиться из-за огромного числа этих паломников, ехало много прямоугольных свертков разного размера, запакрованных в белую бумагу. Поначалу я думала, что там Кораны или религиозные прокламации. Потом моя подруга и коллега Чулпан Сетин из Карского университета объяснила, что там священная вода, которую дают в дар паломникам.

Когда я только приехала в Кайсери, у меня были опасения, что жизнь в отдалении от литературных столиц станет изоляцией от всего русско-литературного. Но ничего подобного не произошло. Мне пишется. И новые реалии неизбежно появляются в моих стихотворениях и эссе. В журнале «Иностранная литература» опубликовано эссе «Мои турецкие университеты», а в журнале «Артикль» – эссе «...а Кайсери унесет ветер». Два года назад меня приняли в ассоциацию «ПЭН-Москва», в которой состоят очень авторитетные,

одаренные и порядочные поэты и писатели. В 2021 году в московском издательстве «Воймега» вышла антология «Современный русский верлибр», над которой я работала в качестве составителя три года.

В один из февральских дней в нашем университете отменили занятия. «Из-за ожидания экстремально холодной погоды и угрозы обледенения», как было написано на сайте университета. Надеюсь, Кайсери не унесет ветер и я проживу талантливо среди вулканов, ветров и моих прекрасных студентов, неожиданно для меня выбравших для постижения русскую литературу.

ПОЭЗИЯ



Вера Павлова

ПЛОТ НАД БЕЗДНОЙ

* * *

Артобстрелы и бомбардировки.
 Грады. Смерчи. Буки.
 У рубашек мокрых на веревке
 опустились руки.
 Плачем. Но любви объятья крепки,
 речь ее понятна.
 Крепы? – Мокрое белье, прищепки.
 Отстирать бы пятна.

* * *

Крошечные молочные,
 огромные коренные.
 С будущим ставки очные –
 улыбки детей. Смешные
 зубки – ступеньки лесенки.
 Сласти. Игрушки. Обновки.
 Колыбельные песенки.
 Ковровые бомбардировки.

* * *

Двоюродную оросила
 кровью родная страна.
 Рассеивается Россия,
 сея свои семена –
 гниющие зубы дракона.
 Выходы слезами польем.
 Чей снайпер стреляет с балкона,
 прячась за мокрым бельем?

* * *

Не умирая за други,
 трудно их умолять
 не опускать руки,
 тем более – не поднимать.

Около кас Бродвея
ярким флажком тряся,
клясть легко лиходея.
но не трясти нельзя.

* * *

Спасательный плот над бездной
из пластика и металла,
летит самолет. Железный
занавес я повидала
с обеих сторон. Он ржавый.
Беглянка, себя муштрую
гордиться чужой державой,
оплакивая родную.

* * *

дождь промоет раны
забинтует снег
зацветут курганы
причалит ковчег
побегу по трапу
проглочу слезу
поцелую лапу
соседскому псу

* * *

Тренировка зренья:
близко – далеко.
Будут увольненья
в фирме Лир и Ко.
Он на что-то годен,
муза, наш улов
родинок и родин,
звезд и светлячков?

* * *

Время суток – война.
Время года и десятилетия.
Стерта, удалена,
для кого и о чем буду петь я?

Завтра нет. Нет вчера.
Воздух выпили Грады и Буки.
Я – комарик пера,
безутешно жужжащий в Фейсбуке.

* * *

Там, далеко – война.
Тут у меня – войнушка.
Я дезертир. Цена
виршам моим – полушка.
Тут, на земле чужой,
в самом затылке тыла
перехожу на вой,
что бы ни говорила.

* * *

скрывайся борись беги
на всех не хватает слез
все стало понятно – и
поставлено под вопрос
ясна расстановка сил
и знает ответ война
кто кому изменил
мы родине нам она

* * *

От грохота, скрежета, лязга
сжимается матка.
Качает пустую коляску.
Це хлопчик? Дівчатко.
Поет колыбельную дочке.
Печаль непроглядна.
Война. Молока на сорочке
расплывающиеся пятна.

* * *

Свидетельств – терабайт,
как мой народ ушел
в искусственный офсайд.
Но засчитали гол,

и торжествует зло,
и стадион орет.
Мне очень повезло
успеть на самолет.

* * *

Не говори: я стреляю мимо.
Пуля не дура – летит до конца.
Выстрелишь в небо – убьешь херувима.
Выстрелишь в землю – убьешь мертвеца.
Птицу. Крота. Стрекозу. Полевку.
Пуля не дура – найдет себе цель.
Не слушай комбата – бросай винтовку.
Послушайся маму – забейся в щель.

* * *

Спросит внучка, спросит внук:
Как ты воевала?
Я полку друзей-подруг
плакать помогала.
Спросит кто-нибудь из них:
Как ты победила?
Я любимых-дорогих
имена твердила.

* * *

Приснилось слово SOSтрадание,
и стало легче на душе.
Уроки сделаны заранее,
тетрадки собраны уже,
ложась, проверила, на месте ли
линейка, циркуль, транспортир.
Найти последние известия.
Смотреть, как умирает мир.

* * *

трам-там-там
трам-там-там
маменькин сынок
помещен по частям

в мусорный мешок
 мина взрыв
 мина взрыв
 из отчета стерт
 Государству – призыв
 родине – аборт

* * *

На войне как на войне:
 «Мурка» на одной струне,
 враг в окне, стояк во сне,
 серфинг на взрывной волне,
 на иконе на стене –
 «Мати, не рыдай мене».
 Восемь строк, двенадцать не:
 о войне как о войне.

* * *

Если под пальцем Я,
 а на экране Z,
 надо сменить раскладку.
 Плачет душа-швея –
 места живого нет,
 некуда класть заплатку,
 нечем стянуть края.
 Выключить в спальне свет,
 поцеловать в лопатку,
 в шею. Душа моя,
 сколько нелетных лет
 ждет впереди экспатку?

* * *

не вытрут ноги на пороге
 запачкают половики
 разбойники с большой дороги
 большевики борщевики
 людей в расход добро на фуры
 вперед товарищ твой черед
 спускать штаны курок три шкуры
 стрелять от живота в живот

* * *

За угрозою угроза
новостей. А утром рано
сновиденье без наркоза
обрабатывает рану
ножевую – на живую
нитку. На подушке слякоть.
Плачу – значит существую.
Мыслю – значит буду плакать.

Алексей Дьячков

ЗАПОМНИ СВЕТ

СПИСОК

Врачиха за ширмами булькала кулером.
 Пропахла приемная хлоркой и куревом.
 До срыва училку опять довели.
 За пасекой трассу наметили вешками.
 С портфелями в сумраке гулком замешкались.
 Ну где же он, Господи, ключ от двери!

Шум черной тарелки лишен мелодичности.
 В распахнутой форточке море античности.
 Поэт наблюдательный не по годам.
 Играли звонками, замками, щеколдами.
 Слезу иногда выжимали щипковые.
 Маячили угол, губа, Магадан.

От нечего делать увлекся гекзаметром.
 С билетом почти повезло на экзамене.
 Решился у всех на глазах на заплыв.
 Зависли с таранью и пивом на пристани.
 Хорошая песня на пленку записана.
 Поставил на паузу и позабыл.

На вахте на бабки приличные кинули.
 Зимой бюллетенил неделю с ангиною.
 Вином и виной железу посадил.
 Стекло на контроле таможенном отняли.
 По снегу не могут вернуться охотники.
 Ребенок в прихожей опять наследил.

АПТЕКА

Внимательно читай: В субботу старт регате
 Даст загорелый мэр в потрепанном халате.
 Концертом духовой оркестр начнет сезон,
 Чтоб школьный выпускной запомнился, как сон.

Чтоб научить тебя тепло хранить в объятых,
Чтоб повторять узор на бабушкином платье,
Удерживать слезу, рыдания, хохот, стон,
Разглядывая о-блака со всех сторон.

Усвой другой урок короткого сезона,
Плутая по дворам и стройкам Лимасола, –
Устало замечай, как явь луча зыбка,
Как свет аляповат в изгибе завитка.

Запомни детский смех, волос воздушных локонов,
Вид моря или гор из всех отельных окон.
Прощаясь навсегда, змее отвесь поклон.
Ты тоже победишь, как тот Лаокоон.

ПЕРЕКРЕСТОК

Не зря полыхает так долго дом,
И сердце не зря болит.
Кладет под язык себе валидол
Колясочный инвалид.

Ваньку в свою спальню давно пора,
Махать перед сном пока. –
Накрыла зеленая тень двора
Окраины облака.

Барачные окна горят еще,
Играет горнист отбой.
Уже футболисты сравняли счет,
Готовы плестись домой.

Герой к горизонту бредет в кино,
А Ваня сидит без дел,
Скучает на кухне, глядит в окно,
Как раньше скучал-глядел.

За то, что с соринкой он до сих пор
В глазу, как циклоп, раним,
Храни немигающий светофор
Сияющий серафим.

УЗЕЛ

Команды жди, гляди на свет и слушай,
 Как птица наполняет звуком мир,
 Когда на перегоне дверь теплушки
 Со скрипом отодвинет конвоир.

Прокашляться попробуй и размяться,
 Вдохнув всей грудью северный туман,
 Когда вокруг галдят и суетятся
 И по мешкам распахивают хлам.

Запомни свет, что в руки не дается,
 И голоса, что так зовут домой,
 Ведь скоро и тебя всерьез коснется,
 Что раньше обходило стороной.

* * *

Много неба, а облака мало.
 Мая в летнем кафе ярок свет,
 Где за столиком мальчик и мама
 Не спеша уплетают десерт.

Тают гжель синевы, тени палех,
 Тополя в белой шерсти для прях.
 И пломбира сиреневый шарик
 В металлической лунке обмяк.

И поплыли ларьки и беседки
 И киоски ЦПКиО,
 И пустых каруселей розетки,
 И космический аттракцион.

И растаяли в отзвуке гулком
 Обращенные к сыну слова.
 И остался лишь свет от прогулки,
 Блик на глади стеклянной стола.

Этот розовый, солнечный зайчик,
 Что на миг проявился легко,
 Каждый раз что-то новое значит,
 Когда я вспоминаю его.

АССОЛЬ

С утра, сегодня, завтра, в воскресенье,
 Пустынный берег моря, день осенний,
 Гранитный мыс скучает по резцу.
 Рука в песок роняет Упо карты.
 Твердит: Ну посмотри на облака ты! –
 Ребенок задремавшему отцу.

Поверить трудно в слякоть, иней, наледь,
 А эти облака легко представить,
 Когда оранжев воздух, а не сер. –
 Как выцветшие гроздьа виноградин,
 Клубятся ради света, бога ради,
 Прозрачными становятся совсем.

И чайки, что над волнами маячат,
 И редкие туристы все прозрачней
 Становятся, чтоб дальше рябью быть.
 Когда совсем мы, как слова, как числа
 Обратного отсчета, истончимся,
 Как сможешь ты меня растормошить?

Со свежей раной от чужой утраты
 Когда-нибудь с болтливой дочкой папа
 Вернись сюда, и сам едва на треть
 Живой. Услышь сквозь сон слова из песни
 И девочке, жующей сочный персик,
 Открыв глаза, задумчиво ответь.

КОРВАЛОЛ

Приснится плен, приснится лес чеченский,
 Ударом в рельс разбудит Лобачевский.
 Вода заката, алое вино –
 Шедевр без дублей снимет сразу набело
 Провинциальный деятель кино. –
 Герой картины вдруг посмотрит в камеру.

А здесь богини в зарослях нагие,
 А здесь и свет другой, и мы другие. –
 Себе находим в тамбуре друзей.

С утра сливаем, пьем остатки чайные.
 Представьтесь. Кто вы? – Герман Елисей.
 Я научу затяжке и отчаянью.

Не складываются в одно фрагменты. –
 Зацвел на швах стены раствор цементный.
 На три аккорда воеет азиат.
 Отец уходит на работу затемно
 И поздно возвращается назад.
 На локте долго заживает ссадина...

Тому, кто в кадр войдет, легко отныне.
 Кенты и бугаи твои родные.
 Среди затылков выбритых найди
 На роль комбрига бармена-валютчика...
 В купе с морозным эхом взаперти
 Героя даст судьба тебе попутчика.

На мартовской капели, первой пробе
 Засядь с ним на подтаявшем сугробе.
 Отдай ему пальто, чтоб не продрог.
 Держи его не в фокусе, не в ракурсе.
 И, повторив финальный монолог,
 Умолкни наконец, чтоб он расплакался.

ПОЛНОЧЬ

Лет, как обещано, было немерено,
 Солнечных зим, как во сне.
 Музыка в парке играла все медленней,
 Скоро умолкла совсем.

Бились моря об уставшую голову,
 Нервно играли мужи –
 «Моро» мигающих буквиц неоновых,
 «Жено» промозглой глуши.

Тьма обступала глубокая, нежная,
 Звякала баба ключом.
 Только финальная перегоревшая
 «Е» розовела еще.

*Рафаэль Шустерович***ТУШЕ****НЭЦКЕ**

Человечки с мечами и коромыслами
не делятся чувствами, не делятся мыслями,
обитая не в преддверии полюса,
а в зоне экватора, в районе пояса.
Воздымают свои умудренные головы
там, где рыбы и крабы, тигры и голуби,
козероги, мартышки, черепахи и зайцы –
символически подвизаются.
Что и знать им в своем срединном мире
о бряцании на горделивой лире,
что им знать в геральдическом, коллекционном
о свободы мерцании порционном,
в этом театре высокочтимых комедий –
о звучаньи страдательных междометий.
Бело-пурпурные, вишнево-каштановые,
то в штанах и хламидах, а то бесштаные,
в своих истинах нерушимо уверенные,
между небом и прахом при деле затерянные.

МЕЛЬНИЦЫ КЛИО

В свой долгий век, плюс-минус пять процентов,
старик, бывалый труженик ка-цэтов,
ветх, словно позаброшенная хата,
движеньем оживленная когда-то.

Вокруг гудят безмозглые инсекты,
тревожа первородные инстинкты, –
адепты тайной извращенной секты,
что правоты последний хмель постигли.

И он сквозь червоточину забвенья
Сосет едва мерцающие звезды
погасших жизней, помня дни творенья
и красный сдвиг, и радуется: поздно.

Ушли, кто помнил, кто мечтал не помнить,
кто просыпался с ужасом потери,
кто отбыл долг – и сдал в анналы повесть,
подписанную цифрами на теле.

Закройся, муравейник – зимы строже,
готовься вечность выстоять на месте.
Есть кто живой? Есть кто живой, о боже?
Не слишком ли остыло блюдо мести...

* * *

Позолоти, закат кессонный,
Мою ладонь
Сиянием бесшумной Соны
В Сен-Жан-де-Лонь.

Расставь томительные баржи
У берегов
Залогами вечерней маржи
Сырых лугов.

Пусть экипажи пьют попарно
Вино и кир,
Смывая время не бездарно
В осенний мир,

Пусть рыжий кот спорхнет с фальшборта
У эспланад,
Чтоб прогуляться без эскорта
В кругу менад.

Добавь упрямство метронома
Под стон гребцов
И с кровли проданного дома
Блеск изразцов,

И нас, случайных, среди public
В чужой земле,
Где на весу грустит кораблик
В церковной мгле.

ПЕРСЕИДЫ В НЕГЕВЕ

вот пять куколок лепидоптеры
и жасминовый куст небосвода
подобьем огневые потери
у пустынно-небесного брода

только чиркнет звезда и исчезнет
прожигая отрезок короткий
разверни же свой звездный учебник
на экран всемогущей коробки

где тот щит с боевым зазеркальем
где охрана громадного сада
что за умысел маниакальный
выдвигаться куда бы не надо

заглянуть мы по счастью успели
в этот миг развернувшийся косо
за плечами у кассиопеи
за скалой отвердевшего лесса

веришь пятнышкам рыжим родимым
образцам кантианского жанра
млечный путь поднимается дымом
неизвестно какого пожара

ДИВЕРТИСМЕНТ В БИРЮЗОВЫХ МАНТИЯХ

...Прилетит безумный вирус на армейском вертолете,
это время Уолсингэма – сознавайся, Уолсингэм.
Словно мало было горя нашей двинутой биоте
между рэповых симфоний и онлайн-поэм.

Воздымай повыше чашу за электоральный выбор,
за гуманный слом традиций, за простор речной волны.
Сделал выбор – тут же выпей, снова сделал – снова выпей,
мы не просто, мы по делу, делу Демона верны.

Входит Бродский в птичьей маске с желтым лейблом Сан-Мишеля,
у него на сердце тяжесть, в шевелюре два дрозда,
в черной торбе полбутылки асептического геля,
мини-томик Аретино, в круге на спине звезда.

Стол накрыт, товарищ Бродский, хрусталем одеты свечи,
 никаких романтик – Пёрселл, в перерывах Моцарт, Гайдн.
 Семь пятнадцать – нет, не поздно, сходу начинаем речи,
 декламируй мерно, внятно, микрофона не ругай.

Где же мрачный председатель – инфракрасный луч в тоннеле,
 наш заступник перед бездной, в туфлях Тютчева ходок?..
 Под такие баритоны как же весело мы пели,
 даже ощущая в спину беззаконный холодок.

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ САМСОНИАНА

Самсон загадывал загадки
 и челюстью разил сплеча
 мол в Газе вечно беспорядки
 ворча

не получив милашки лона
 он снес ворота Ашкелона
 пардон к сему поправка сразу
 про Газу

Самсон оброс на карантине
 Далила ножниц не берет
 сидеть нестриженным детине
 весь год

дела неплохи у Самсона
 еда в достатке и питьё
 но не обрушена колонна
 ну ё

Самсон оброс на карантине
 пил ел да лил
 теперь покажет Палестине
 Далил

Самсон гордится совершённым
 за дело льву порвал он пасть
 теперь положено колоннам
 упасть

КОФЕ

Михаилу Песенсону

голуби доклевывают чужие пирожные
 со столиков на площади перед цирком
 глотки первые невозможные
 едва ли положенные штафиркам
 точнее лейтенантам артиллерийской разведки
 не взятым в бой из запаса
 взгляды остры суждения едки
 незрим силуэт Алькатраса
 на западном краю карты

чем не Париж
 говоришь ты

май тысяча девятьсот восемьдесят пятого
 маленькие кавказские джезвы тасуемые смуглой женской рукой
 неорганизованно перестраиваются
 на горячем песке свободы

СНОВА ТРОЯ

Снова Троя, ее стены, ее храмы.
 Боги жаждут продолжения банкета –
 В центре средиземноморской панорамы
 По-особенному дыбится планета.

Распрягайте корабли, сушите весла,
 Правьте стрелы, ставьте осадную башню.
 Если что-то за спиной уже горело,
 То и новое подпаливать не страшно.

Растолкайте же сказителя, расставьте
 Табернакли, помолитесь за победу.
 Наслаждайтесь – это кровь кипит на старте,
 Скоро вызволим Елену, Андромеду.

Нынче время для презрения и гнева,
 Нынче время не подсчитывать добычу:
 За гроши пойдет на рынке завтра дева,
 Не торгуйся – я цены не увеличу.

ТУШЕ

Популярный в прошлом композитор Бермудов
полагал, что музыка – сеть сосудов,
по которым кровь особого толка
циркулирует между людьми – и только.

Если так, рассуждал он, я – селезенка,
кровотворный орган, настроенный тонко,
и когда умру (или даже «если»)..
Тут Бермудов заснул в неудобном кресле.

Но во сне Бермудов взял авторучку
с золотым пером, посмотрел на тучку,
что плыла в раскрытых дверях балкона,
нелогично похожая на дракона –
и пошел строчить на линованном блоке.
Попытаюсь восстановить эти строки:

«Музыка сложится постепенно,
Не отмени ее, не запрети.
Нет, никуда не уйти от Шопена,
Да, никуда не уйти.

Круглые ноты, вишневые ноты,
Ты им послушен и помнишь один:
Звук извлекается бережно; что ты
Не узнаешь – но берешь из глубин?

Что эти мальчики знают о детстве?
Лучше молчание, чем раскардаш
Грабящих толп и бесстыдная дерзость
Самовлюбленных агентов продаж.

Цокают в листья шарики солнца –
Капли закончившегося дождя,
И – никого. Только повод рассориться,
В ветреный сад сквозь окно выходя».

РАРОН

(могила Рильке)

Абрикосы созрели в висячих садах,
 Просыпается новый снежок
 На туманные горы, и облака взмах
 Чуть саднит, словно легкий ожог.

Здесь безвременник метит невинность полян
 Розовой щепотью, и склон
 Хлорофиллен, безлюден, и воздух стеклян,
 И в долине теснится Рарон.

Прилепившись, как ангел, к собору скалы,
 Там пристроился хилый поэт,
 Чтоб вершины заполнили зренья углы
 И возможным казался полет.

Рядом замок, разрушенный местной войной,
 Знаком местных жестоких свобод,
 И сосет виноград погибающий зной
 Каждый первый и следующий год.

ЭФЕДРА

Хирально чистая™ совесть,
 безошибочно находящая острый конец яйца,
 преодолевает эпохи сонность,
 но требует для чистоты – мясца,
 разумеется, обладая правом,
 старомодным патентом на отстрел,
 на добавление к анналам, главам
 через головы экстатических тел.

Безнадежный лектор трубит об отборе,
 генетических линиях, ареалах питания;
 снова подкатывается рифма «испытания»
 и тревога звучит в неразборчивом хоре.
 Водопад пепельно-розовой эфедры
 заслоняет вход в пресловутый лес;
 голоса Дидоны, Медеи, Федры
 не достигают небес.

Ирина Чуднова

РАЗГОВОР С ПУСТЫНЕЙ

КРУГОВОРОТ

я научу тебя любить обэриу
 возьми бутылочное стеклышко в траву –
 оно тебе и циркуль, и треножник
 теперь ложись к подножию травы
 послушай, как вокруг свистит ковыль
 как ластится к такыру подорожник
 как строг к соседям сэр чертополох
 как бесконечно выпренна сурепка
 пусть чистотел испачкает твой слог
 липучей кровью

ты
 дышать
 старайся редко
 но глубоко
 вот так
 лежи
 гляди в бутылочный осколок
 на межи
 и в небо

лежи, пока вокруг ворчит трава
 и в теле ощущение естества
 лови на мареве степном взопревшей негой
 дели часы на полдень, нечет, чет
 и встань, когда прохлада натечет
 под бархат пропыленной ветром кожи
 сумеешь встать – вернешься в города
 а нет, пусть будет степь тобой
 сыта –

чертополох, сурепка, подорожник.

КОЛОДЕЦ

видишь? –
глина, ветра и тарантул забили
мой рот
до спасенья от жажды
дневной переход и тугие, как поступь, как вьюки
верблюжьки года

родниковый мой корень –
мой сокол, мой окунь
иссяк, перебит, пересох
перетерся в песок, стал незрячий самум
стал слюда

ни молитвы, ни сына, ни гибкой, как серна, лозы
ни жены, ни кола, ни шатра, ни межи, ни вола –
от бесплодного завтра
ни пригоршни дробной луны
ни слезы

немота и зола

и пустыня нагая молчит
между звезд
легковесно мерцает слюда
время трется о жернов, кружит –
монотонно зудит его хорда...

...слышишь невыразимого гул? –

так во мне прибывает живая
живая вода
и поит
и колышется в горле
и неисчерпаемо горло.

СОВРЕМЕННОСТЬ: Я СТАНУ ЗВАТЬ ТЕБЯ НИНА

псориазные руки пианиста
гениальные пальцы в струпьях
лапы динозавра
нескладного древнего ящера

на белых как кость клавишах пианино
которыми допотопный он
разговаривает с пустыней
у себя внутри
поливая пространство меж звезд
мертвой водой
просыпая нотную грамоту как пепел
в пустоту
сочась наружу экземой созвездий
мучаясь невозможностью
выразить словом
звук запах цвет имя
выкашливая
застрявшее в пространстве между альвеол
безымянное –
неназываемое невыразимое

он
берет разбег от фа-бемоль долетает
до космоса
а потом смотрит в ее глаза –
глаза с вишневой поволокой
выцветшими серыми
смотрит на ее шею –
шею нездешней птицы
натывается взглядом
на что-то внутри себя
и вдруг говорит:
– Я стану звать тебя Нина!

и оба знают –
как бы она ни ответила
на этот раз
ничто не поможет
соединению неразделимого.

...И ЛАСТОЧКА МУТИРУЕТ К СОВЕ

I.

...и ласточка мутирует к сове – чей глаз как желтая полоска
 из-под двери, а ты лежишь на свежей простыне, тебе шесть лет:
 ты мал, пуглив, безмерен и любопытен. Тени на стене рисуют
 крыльев мах и посекундно меняются: ты замер беспробудно,
 ты жмуришь страх, ты в доме и вовне. Ты – ветер, и колышешь
 кроны ив, движением ресниц стреножишь время сторожкое,
 лишь потому раним и чуток, что на долгий миг доверил
 сердечный
 стук дверному косяку и замер ожиданьем скрипа несмазанных
 петель.

Она безлика, но ощутима. Смерть. Она в дому.

Пространство упирается в глаза, рождая красный отсвет
 на сетчатке,
 клонируются тени – отпечатки совиных крыльев. Майская гроза,
 и та
 не заглушит их четкий след: полночный шорох, метроном
 печальный –
 назад тому две ночи умер дед. Сосновый гроб стоит в угрюмой
 спальне –
 потусторонней мебели предмет. Там сладковатый обморок сирени
 тревожит надзеркальный креп и забивает ноздри.

Эхо тени и тени эха –
 дед был глух и слеп, и молчалив, бездвижен, недвижим, лишь
 вязкий сип, насадный голос легких, подсказывал, что дед
 пока что жив.

Босая смерть облизывала стекла на всех часах. Сырой рассвет
 день ото дня худел. Замком гремел, как тощая сиделка,
 когда входило утро. Стрелка на дедовых часах умаялась вконец,
 замкнув собой дыхание и боль. Ловец разжал ладонь: и загнанная
 белка легла ничком в сердечном колесе.

Теперь ты учишься не доверять росе:
 сирень, гроза и все, и все вокруг тебя подыгрывает смерти.
 Еще минута и – светает.
 Там что-то шаркает... застыть? кричать? ...вот-вот!!

Но это бабушка идет. Дверь, наконец, скрипит.

И все в тебе мгновенно засыпает.

II.

Ты ни за что губами не коснешься уже чужого дедовского лба.
Но первым твой ком земли ударит в крышку гроба. Отступит
смерть.

Сова и ты – вы оба сочтете ласточек в промытой вышине
над кладбищем. Поверх чужих могил. И ты почувствуешь,
как дед тебя любил: сурово, сдержанно, необычайно –
что было сил – и в отходном бреду.
Так ложечка кружится в чашке чайной и увязает в сахарном меду.

Бабуля доживет до взрослых лет. Твоих. Уйдет внезапно.
На кладбище соседка и сосед поедут. Там ты осознаешь: дед
не был отпет, как следует. На ватных ногах домой вернешься.
Молод. Сед. Глядеться в толщу лет – чужих, своих, непрожитых,
нестрашных, какие есть. На завтра съешь обед, тот что был сварен
бабушкой. Домашних харчей забудешь вскоре вкус и цвет.

До той поры, когда... Сирень. Сосна. Снята на отпуск дача на берегу
реки. Луна и ласточки. Любовь. Полоска света прорежется из-под
дверной доски. Но детские секреты рассказывать не станешь
милой.

С ней меж свежих простыней так славно, так легко молчать
про это,
как отсчитать по списку кораблей свою судьбу.
Гроза. Начало лета. Стрекогут насекомые в траве,
цикады и кузнечики – поэты.

...и ласточка мутирует к сове.

Борис Фабрикант

ОКОШКО МЕЖДУ ВРЕМЕНАМИ

* * *

Пока я по земле хожу
и вижу все, на что гляжу
и что воображаю,
и вспоминая, и любя,
жизнь, все, что знаю
про тебя,
чего не знаю.
И я хочу еще
успеть,
начать
и выдумать,
посметь
и рыбами заполнить сеть,
заделав брешь к закату.
Тут иногда проходит смерть
и тихо говорит: «пометь
вторую дату»

* * *

Словно зернышки, брошенные на траву,
Птицы спят, оставаясь в ней на плаву.
Вырастают с разгона лихою дугой
Перелетом из этого сна в другой.
Как цветок, обнимаясь с водою в земле,
Птицы воздух с собою несут на крыле
И, на вдох опираясь, со взмахом на чет,
Птицы корни пускают, где ветер растет.
Стая горстью ложится, подобно зерну,
В небеса, как в распахнутую целину

* * *

Было бы окошко между временами.
Даже небольшое мутное стекло.
Подышал бы тихо и протер руками
И смотрел бы долго, чтобы повезло.

Брошу две монетки, сдвинется заслонка,
Контролер в фуражке песенку свистит,
В очереди сзади кто-то плачет тонко,
Номер на ладонях, дождик моросит.

Наклонюсь над светом в пластиковой раме,
В нашем прошлом утро, солнце и тепло.
Может быть, увижу маму вместе с нами.
Жалко, не услышу – толстое стекло

* * *

Еврею главное веселье – погрузить
и в стену плача упереться лбом,
и, помня Бога, думать о былом,
еврей о будущем не помнит. Чья вина,
что на пути еврея всюду ждет стена,
и яма плача сорванной землей,
как содранную кожей,
покрыть не может детской плоти божьей.
Как спрятать их надежней, наконец?
Хотя бы в дыме, вот они плывут,
и скрыты очертания телец,
и над землей летают, навсегда
там, где дожди и прочая вода,
как будто небо – это детский пруд.
Омытые от дыма не видны,
прозрачные, взлететь не могут выше,
пока все не отмолены, мы дышим,
мы дышим ими, стоя у стены

Нелли Воронель

МЭРИКРИСМАС

УТЕШИТЕЛЬНАЯ ПЕСЕНКА О БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ ЗИМЫ

Зима откроет дверь пинком,
а мы не слезем с теплой печки
и будем там сидеть рядком,
всамделишные человечки.
Она подышит на окно
и спросит, где у нас лопата,
да мы не знаем все равно,
тогда где елочная вата,
или хоть санки и топор,
или хотя бы пряник к чаю?
Мы не поддержим разговор,
мы ни за что не отвечаем.
К соседям сходит, раз мы так,
вернется с квашеной капустой,
но мы ей тут – не с печки бряк,
сидим – и чтоб ей было пусто!
Намечет масляных блинов,
пыхтя, затащит елку в сени,
а мы не слезем все равно,
мы будем жизни ждать весенней!
Зима рассудит, не мудря, –
от этих чурок мало толку,
чтоб не отсвечивали зря,
повесит дураков на елку.

* * *

Упало три крупинки на траву –
такой вот Мэрикрисмас, извини!
Снега свалили, стало быть, в Москву,
зато с лопатой не было возни.
Гол как сокол наш сизый лесопарк,
навстречу пилит шизанутый дед,
под ним, ты не поверишь, лисапед,
а был бы снег, дед с лисапед – шварк!
Вот неказистый мостик над рекой,

рекой-то называть ее смешно,
а парк при ней – не парк он никакой,
и лес – не лес, а впрочем, все равно.
Все ровно в этом вечном ноябре,
день сдохшего от серости сурка,
смурное небо ниже потолка,
и зрение теряется в норе.
А в остальном всё чудно, как всегда.
Не видеть или просто не смотреть –
что замутит гулящая вода
зимовки, укороченной на треть?

Но вдруг из-за угла небытия –
вприпрыжку идиоты, пара штук,
рты до ушей, не расцепляя рук,
и это, не поверишь, – ты и я!

Галина Калинкина

ПИСЬМА БЕЗ МАРОК

*Представьте, «письма без марок» не достигли адресата.
У них один читатель: любопытный почтальон, женщина средних лет,
то ли разведенка, то ли мать-одиночка – письмоносица, во всякую
погоду объезжающая в резиновых сапогах на велосипеде окрестные
хляби, где по редким деревенькам расселились старожилы и новоселы
– не знающие деревни горожане на пенсии. Почтальонке нравилась
такая работа, потому что ее всюду ждали.
Вот от одной бывшей горожанки и уходили в никуда письма без марок,
над которыми теперь ревели почтарка, бросив на взгорке ржавый велик.
Все дивилась городским, балованным. Все силилась разгадать чужую
историю. Но с каждым следующим вскрытым письмом казалось, будто
ее не выслушали, ее недолюбили, будто недолюбила она сама.*

* * *

...где та девочка, Снегурка,
беличья шкурка?
чья теперь голова
сединай серебрена?

* * *

...и никакого рыдания, страдания!
одна радость бескрайняя....

* * *

...а в лесу светло и пусто
там натурщицей нагою
осень просится в искусство...

* * *

...нынче осень такая странная...
люди тоже слетаются в стаи
я любовью тебя ранила
так, наверно, бывает с теми,

кто случайно прошедшее время
с настоящим меняет местами....

* * *

...на расстоянии не сокращающемся
с годами,
не убывающем столетиями
ты ветер ли
мимо промчавшийся...
или ты жизнь моя не начавшаяся?

* * *

...Отче, пожалуйста, не карай!
забери Свое, а мое отдай
и тогда еще через край
достанет и останется
а я стану странницей...
и отправлюсь по миру
искать квартиру
у моря
лодку, весла, сети там, снасти...
чтоб жить не в горе,
а в счастье...

* * *

...вот бы после ливня-муссона
где-нибудь на Тишине Матросской
асфальт московский
расцвел бы ракушками и кораллами
я бы ходила с авоськой
и подбирала...

* * *

...хотелось быть лодкой
не утлой, а ловкой
или стать легкой
как рисовал
Шагал
чтобы Москвы
овал

осмотреть
с высоты
птичьего
чтоб коробкой
спичечной
в ладони лежал
вокзал
и мосты
чтобы привычное
открылось заново
как будто ничего
о нем и не знал
ты...

* * *

...я думала, море выплеснет тебя вон
на линию береговую из души глубин
я верила в память воды, в силу волн
искала сердолик и повышала гемоглобин
и все размышляла, что он делает там один?
я думала, здешнее солнце сделает свое дело
выжжет из мыслей, испепелив
лежу и люблюсь на свое новое тело
мулатки, по каплям прилив и отлив
цежу в себе, жаль, что я так несмела,
да здравствует, что ты так терпелив!

* * *

...спасибо, с собой не взял, своей не звал,
не давал поводов, обещаний дурацких
глаза – жесточайшее из зеркал –
смотревшие с нежностью братской...

* * *

...и снова празднуешь отъезд
как будто, в самом деле, праздник
ведь с тягой к перемене мест
жизнь кажется разнообразней
о, этот Фрайбург так далек
и так немислим!

как сочиненный эпилог
невскрытых писем

* * *

...разве я прежде не говорила,
ты – ни хозяин, ни гость, ни странник в пути
заплутавший, попросившийся на ночлег
...ты – единственный человек, которому не скажу:
люблю,
которого на рассвете не разбужу
к кораблю
отплывающему,
которому никогда не свяжу
ни стиха, ни кольчуги,
не попрошусь в подруги...

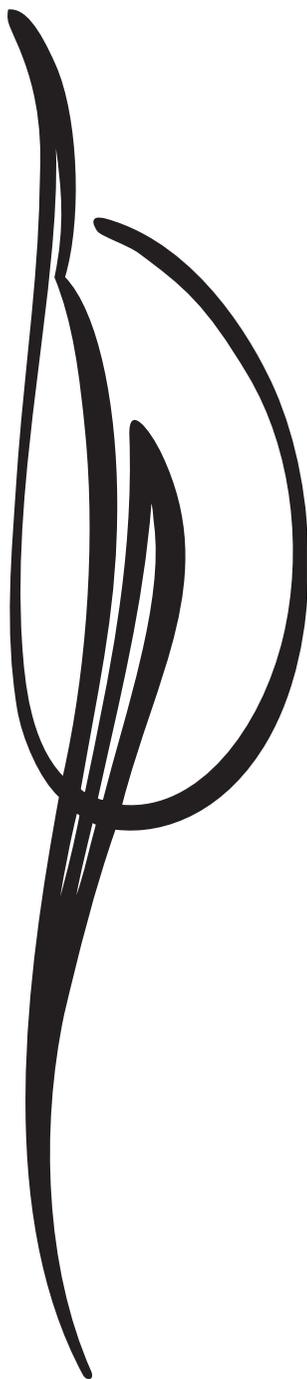
* * *

...бывает так: один звонок –
полупотеряно сознание
земля уходит из-под ног
и *пауза в существованье*
наступит, не спросив тебя
и гаснет в форточке звезда...

* * *

...А я хочу на шарике воздушном
Уплыть туда, где будешь ты живым...

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Влад Дмитриев

БУКОВИНСКИЕ ЗАПИСКИ, РАСТЕРЯННЫЕ ПО ДОРОГЕ ОБРАТНО

Мы идем по узкой тропинке, пролегающей между двумя вспаханнами полями. Они не ровные и напоминают огромную рампу. Здесь почти нет ровных мест, в основном холмы да пологие склоны. Везде – на улицах, во дворах и, особенно, на таких безымянных участках, где, впрочем, каждый помнит черту, до которой положено возделывать свою долю, земля уходит из-под ног и стелется каменистым рушником до какой-нибудь затаенной балки или, наоборот, тянется к синеющей вдали вершине.

Высоких заборов тут не найти, хозяева часто держат калитки открытыми. Недавно мы видели усадьбу с повязанными волною белыми кисеями на воротах. Тревожимые легким ветром, они напоминали прибрежную пену. Банты украшали и росшие во дворе яблони, от чего казалось, будто они в цвету. Нам объяснили, что здесь выдавали замуж дочь, а преобразать так жилище принято до тех пор, пока не минет год со дня свадьбы.

Путь держим в лавку. Ее рядом с собственным домом открыла пожилая чета, живущая в деревне. Посетителей днем мало, поэтому иногда нужно звать, чтоб открыли. Продается все что угодно, от галош до настольных будильников. Есть и вещи, давно пропавшие с полок городских магазинов, например опасные бритвенные лезвия или химические карандаши. Уйма импортных товаров – румынских, польских, венгерских. С деревянного лотка на тележке мы берем горячий кирпичик. Из морозильника достаем заиндевелую пачку сливочного масла. Касательно остального – лучше самим зайти за прилавок, рассмотреть, пощупать, примерить. Пожалуй, не помешает лишняя пара теплых носков. Вернулась нужда в подзабытых благах старого быта: спичках, восковых свечах, консервном ноже. Не доверяя кассовому аппарату, хозяйка обходится старыми счетами и без колебаний округляет простые числа.

Портится погода, и обратная дорога становится незнакомой. Ветер гонит снег параллельно почве, и он, точно не падая вовсе, мошкаркой летит над черными грядами. Мы останавливаемся. Со всех сторон, выглядывая друг у друга из-за спин, горы окаймляют горизонт. Кое-где их треугольные станы растворяются в сизых тучах, завесивших небосклон. Перед снегопадом все здесь замирает в ожидании милостыни – не окликнет сородича птица, не шелхнет усохший колос. Метель примиряет скалы и полонины, топи и нивы, и всем от нее достается поровну.

Нам встречаются одиноко разбросанные по полю дощатые сеновалы. Эти, ничейные на первый взгляд, крепости, хранящие косматые снопы, сторожат маленькие собаки, которые, не имея постоянного крова, кочуют от дома к дому.

-

Чарующе здесь выглядит всякая однородность, будь то осанистые дубки вдоль пашни или вздымающиеся над прогалинами горные леса. Одни, построившись в ряд, кладут сухие ветви друг другу на плечи, готовые танцевать воинственный аркан, пусть только грянет первая нота. В других пернатый и пушной зверь уже распелся и затаил дух в ожидании мановения своего дирижера.

-

Весенний гром, существует ли он? Трудно поверить, что через две недели апрель ворвется и сюда, будет бродить среди людей, наводить порядок: солнцем обдавать сырую землю, вычищать по закуткам огрубелый снег, тянуть к свету листья, зреющие на молодых побегах. И, конечно, апрельский дождь – еще холодный, но верный предвестник иной весны, зеленой, щебечущей, той, что с каждым утром все смелей осекает зябкие сумерки.

В эту пору я вспоминаю о чудной композиции авангардного Эрика Долфи, которая так и называется – April Rain. Флейта и вибрафон переносят меня в дебри утопающих в тропическом ливне джунглей, и я мечтательно бреду невесть куда, пробираясь вглубь густых зарослей.

-

Поселились мы в одноэтажном кирпичном домике с террасой, смахивающем на особняк американских южан. Чтобы не замерзнуть ночью, приходится топить ватерку – так здесь называют изразцовую печь с небольшой платформой для готовки. Разведение огня в ней – занятие, требующее умения, внимания и ненужной полиграфии, которая славно горит. Крупные дрова шипят, пуская влагу, и медленно тлеют. Мы решаем наперво сушить их: раскладываем на жаровне, следя, чтоб не обуглились и не зачадили, и только потом они пригодны для костра. Скрипит чугунная дверца, пламенный жар, подпитываясь трескучими поленьями, румянит заглядывающие в топку лица. Стены понемногу накаляются, через некоторое время комнату охватывает приятная, едва ли не церковная духота, называемая «ташкентом». Хорошо зайти в нее с долгой

прогулки на морозе. Даже после угасания огня кафель долго хранит тепло – можно всем телом прижаться и оттаивать, чувствуя, как мурашки пробегают по ребрам.

-

На углу улицы стоит аккуратная часовня. Все, кто живет рядом, ухаживают за ней. Там тихо, царит полутьма, и лишь серебрятся рамы образов, подсвечивая смиренные лики. Боковое окошко сделано в форме креста из лазурных стеклоблоков. В карпатских селах даже незнакомцев приветствуют фразой «Слава Ису!», а отвечают «Навеки слава!», что отнюдь не говорит о показной набожности.

-

Глинистая колея, выкатанная подводами, извивается и ведет нас мимо оперившихся камышей в заводи, оврагов со сваленной в них жженой кукурузой, нежилых покосившихся хат до возвышения, с которого открывается вид на окрестные деревни. Как семена, разбросанные исполинским сеятелем, они прочно вросли и пустили корни. Где-то за ними, уже недосыгаемый взором, несет свои бурные воды Черемош, а рядом с нами течет другая река с плодovitым названием Рыбница – дальняя родня Дунаю. С моста над нею видать каменную дамбу, там русло по-змеиному сворачивает, уползая за отвесный край берега.

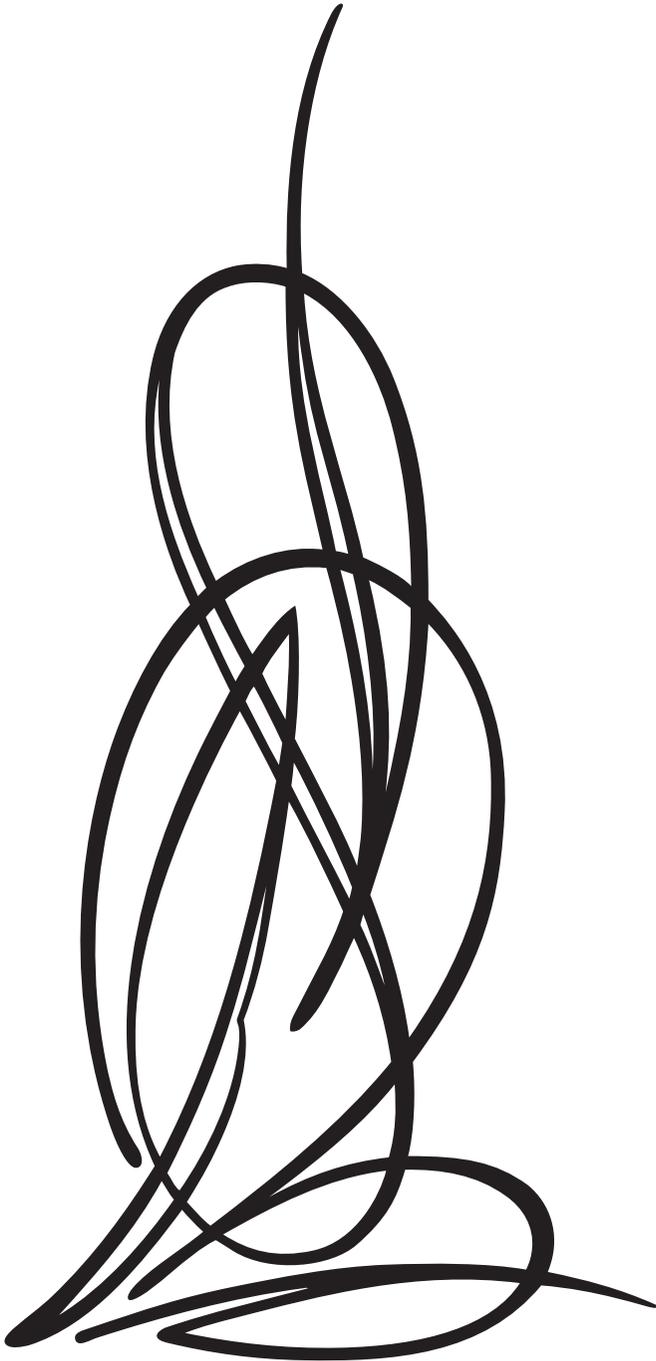
Мы спускаемся. Под ногами хрустит пестрая галька, похожая на кладку диковинных птиц. Пороги сменяют рухнувшие в реку деревья, клиньями вонзаясь в шумный поток и дробя его на мелкие ручейки. Здесь неглубоко, летом переходят на другую сторону, закатав брюки до колен. Надеяться повторить участь Офелии тщетно: если лечь на дно, полголовы в виде маски будет торчать над поверхностью. Детский восторг у нас вызывает швыряние камней в воду. Они забавно плюхаются, каждый по-своему, в зависимости от величины и формы. Пробуем пускать блинчики. Жаль, при таком течении это весьма сложно.

Солнце щедро пригревает, становится жарко в грузной зимней одежде. Ни до, ни после нет в календаре равных таким дням по ласке и коварству. Если поддаться легкомыслию и сбросить болоньевую шкуру, можно в два счета заболеть – дух зимы еще витает в тенистых закромах перелесков.

-

Годами находясь в плену столичных железобетонных лабиринтов, я напрочь утратил веру в существование клочков земли без недостроек, дымящихся труб котельных и прочих следов человека. И когда, обнимая взглядом привольные дали, я полной грудью вдыхаю напитанный эфиром воздух, во мне рождается непреодолимое желание издать выдуманный, несуразный, но безраздельно свой крик, обращенный ко всему живому на тысячи шагов вокруг. Это первобытный зов, лишенный речи для того, чтоб быть услышанным иначе. Зов, освободивший неведомую силу, которая любым способом искала выхода наружу и нашла его именно здесь, среди карпатских гор и лесов. Я слушаю, как, множась, разносится по ним мое эхо.

ПОЭЗИЯ



Юлий Гуголев

ДВЕНАДЦАТЬ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Калика перехожий,
обувь оставь в прихожей.
Здравствуй, коли зашел.
Что уж стоять без толку,
в угол клади котомку,
с нами садись за стол.

Денег у нас миллионы.
Выпей, чего нальем мы,
выпей и закуси.
Надо, деньжат подбросим.
Ну же, милости просим.
Лишнего не проси.

Наших харчей отведай,
а между тем поведай,
как оно там вообще,
дай нам картину в целом,
как там на свете белом
рвется душа вотще.

Правда ли, что за морем
тем же горюют горем,
той же горят бедой,
так же, как здесь, боятся
петь, говорить, смеяться?
Что ж ты стоишь? Не стой.

Сядь, хотя б для приличья.
Что ты там видел лично?
Дай наконец ответ.
Как там, в краю далеком,
свет над парящим оком,
есть ли он, этот свет?

Есть ли над оком голубь?
В небе видна ли прорубь?

Вся ли видна, до дна?
Пар ли над ней клубится?
Правда ли то, что птица
в тех клубах не видна?

В Новом ли свете, в Старом
люди уходят паром
в завтрашние облака?
Что-то ты слов не находишь...
Что так? Уже уходишь?
Ну, прощевай, пока.

* * *

Не нужно твоих рецитаций.
Час пробил вставать с нами в строй,
на первый-второй рассчитаться,
кто первый, не знать, кто второй.

Не знать, кто своими руками,
не слышать чужую дуду,
оставить на камне не камень,
а только нужду да беду.

Не знать, кто сегодня, кто завтра.
Не ведать, кто пан, кто пропал,
какая кому ляжет карта,
кто ранен, а кто наповал.

Кто насмерть, а кто схоронится,
кто вякнет, кто ляжет на дно.
И нашей ползучей границы
растет нефтяное пятно

до самой моей Украины
от Грузии самой моей, –
руины, руины, руины
да отсветы вечных огней,

не тех, что среди мавзолеев
и увековеченных дат,
а тех, что пока только тлеют
и ждут неизвестных солдат.

* * *

Давай условимся: пока
не говори мне про разлуку,
пока во сне моя рука
твою нашаривает руку

на неостывшей простыне,
пока, немотствуя о тлене,
слепые наплывают тени
по потолку и по стене,

как будто нам со всех сторон
еще не слышен звон кандалный,
и свет такой, как бы вокзальный,
как будто тронулся вагон.

* * *

Всё происходит одновременно.
Всё одновременно. Прямо сейчас.
Неослепительных два джентльмена
на остановке пьют явно не квас,

хлеб, колбаса, то ли фрукт, то ли овощ,
вот к остановке подходит М6,
мимо проносится «скорая помощь»,
в ней происходит какая-то жесь.

Мимо проходят чьи-то мамыши.
Мимо провозят деток чужих.
Кто же их знает – наши, не наши...
Ходит с лопатой веселый таджик.

Ходят колоннами. Лягут рядами.
Солнца вспухает оранжевый гриб.
Воздух хватают черными ртами.
Чей это плач превращается в хрип?

Киса мяучит? Собаконька лает?
Ножками в люльке младенец сучит?
Родина слышит, родина знает...
Харьков пылает. Пепел стучит.

УРОКИ МУЖЕСТВА

Здрасьте, девочки! Здрасьте, ребята!
А сегодня мы поговорим
про солдат, ведь солдаты не спят, а
заслоняют собой Третий Рим.

Дорогие мои москвичи!
Да и вы, зарубежные гости!
Яко тать, кто крадется в ночи?
Чьи белеют безвестные кости?

Ну-ка, это у нас кто такой?
Это кто тут такой с автоматом?
Кто приносит лишь мир и покой
вот таким же ребятам, девчатам?

Чтобы ночью им крепче спалось,
чтобы днем веселее кричалось,
чтобы неутолимая злость
черным пеплом в сердца не стучалась.

Каждый знает, что выйдет к доске,
потому что придется ответить.
Пробил час. И песчинку в песке
невозможно уже не заметить.

Интересно, что скажут в процессе
разговора о зле и добре
Саша в Киеве, Боря в Одессе,
Ира в Харькове, Ваня в Днестре.

* * *

Вроде стиранное... Непонятно...
И неважно – платок, носок...
Но откуда бурые пятна?
Вероятно, фруктовый сок...

Я ж замачивал всё в холодной.
Вероятно, не та вода.
Порошок, должно быть, негодный.
Маркировка ткани не та.

Эти пятна глядят, как очи.
Не пятно уже, а клеймо.
Пролежало в воде полночи,
думал, утром сойдет само.

Не сошло, как ни тер, не слезло,
и ползет по моей руке.
И соленый привкус железа
в небе, в воздухе, на языке.

* * *

Вот он сперва родился.
Как им отец гордился.
Как над ним мать тряслась.
Как же от тех пеленок
до городов спаленных
мигом жизнь пронеслась.

Вот бы чуток удачи,
всё бы могло иначе
выпасть, случиться, быть,
так бы сложилось, чтобы
спорт, работа, учеба,
свадьба, семейный быт,

всё почти образцово,
на книжной полке Донцова,
рядом Федин с Золя,
ну и, куда деваться,
фотоальбом на двадцать
третье февраля.

Вот он такой с баяном,
вот он вернулся пьяным,
вот он к воде припал.
Вот он уже постарше.
Вот он уже на марше.
Вот он уже пропал.

Где ты сейчас? В потоке?
Кто там в твоём Tik-Tok'e?
Что ж ты, брат, ни гу-гу?
Вот он лежит, как ежик,

ни головы, ни ножек,
дырочка в правом боку.

* * *

В чистом поле вьется дым отечества,
кухни или, скажем, крематория.
Это наблюдает человечество,
теле-, так сказать, аудитория.

Кто там в чистом поле, те ли, эти ли,
зрения обман, погрешность оптики? –
говорят эксперты и свидетели,
спорят очевидцы и синоптики.

Фейки ваши кадры, ведь у вас они
наскоро подогнаны, неровно.
Разве так должны быть руки связаны?
Всё-то тут у вас инсценировано!

Вы нас попрекаете ГУЛАГом.
Вам ли говорить о Кондопоге.
Вон у вас и ноготь с красным лаком.
Труп у вас садится на дороге.

Ваши фото казни показательной –
всюду снег, а дело было летом –
мимо нас несутся по касательной,
попадают только рикошетом.

И какие к нам у вас предъявы?
В чем же оно, наше соучастье?
Мы же, так сказать, не ради славы!
Мы и так расколоты на части.

Эта часть – агенты и предатели,
эта часть – насильники-убийцы.
Остальные – просто наблюдатели,
так сказать, физические лица.

* * *

Зевнув и подойдя к окошку,
ты видишь с самого утра,
что день светлее стал немножко
и зеленее, чем вчера,

что ярче беглый блик на крыше
и птичья трель в ветвях течет,
но даже слыша, ты не слышишь,
не отдаешь себе отчет

в том, что всё то, что к свету рвется
всё, что цветет и шелестит,
танцует на ветру и вьется,
играет с тенью и блестит,

всё, что щебечет и кукует,
всё, что бликует напросвет,
не справедливости взыскует,
но о безвинных вопиет.

* * *

Филиппу Дзядко

Мне бы хоть на миг представить, мне хоть
пусть во сне пригрезилось бы, что
я вдруг променял, чтобы уехать,
тот драмтеатр – на это шапито.

Пусть глаза привыкнут к новым краскам,
ты ж пока ищи себе жильё
с этими шипящими, с «и кратким»,
с этими, блядь, точками над «ё».

Сам решай, с какого перелеяда,
выбирай – на запад, на восток, –
не почувешь где косога взгляда,
не услышишь вечный шепоток,

мол, это они от нас узнали
про Содом, Гоморру и Бедлам,
это мы им кровью написали,
шифром нашептали по углам.

Всех делов-то: Яндекс или Uber,
Талимжон иль, скажем, Ибрагим.
Кто на ком уехал, кто где умер,
кто остался прежним / стал другим...

Кто, перебеляя место встречи,
вышел под иные небеса,
от накрапыванья русской речи
чтоб уже не отводить глаза.

* * *

Тут, куда ни зайди, разговоры:
про обиды и кто убиты.
А снаружи молчат заборы,
виноградом диким увиты.

Кто же их господин, кто царь их?
Из машины звучит Боб Дилан,
на участке сосед-косарик
у мангала, как поп с кадиллом.

И дымок плывет над участками,
и кукушка кукует снова,
приговорами сыплет частными,
не понять в которых ни слова.

Если все слова уже попораны,
можно только гадать, наверное,
обонятельно или тактильно,
что у них тут – Страстная, Вербное,
День Победы, крестины, похороны,
то ли баня, то ли коптильня?

Что у них тут, конец, начало?
То ли плачет кто, то ль смеется.
Слышь, кукушка-то замолчала...
А дымок-то всё вьется, вьется...

* * *

Если ты еще не склеен ластами,
если ты способен двигать булками,

утро начинай свое подкастами,
вечер отмеряй в стакане бульками.

Если уж совсем тебе мучительно,
что-нибудь переведи PaуPa!ом,
представляя, скольким сразу жителям
много легче станет по подвалам.

Коль не в силах дать им паспорт Нансена
или отмолить их, как Матрона,
можешь поучаствовать финансово,
поддержав приобретение дрона.

Проспонсируй костяное крошево,
пролоббируй кровавое месиво,
заработай звание «хорошего»,
чтоб с тобой зарыли вместе здесь его.

Что уж лезть из кожи вон и пыжиться,
что уж по ночам не спать и каяться.
Ничего с тебя уже не спишется,
словно не тебе теперь икается,

будто среди ужаса кромешного
не тебе всё чудится и кажется,
как в земле неравно перемешаны
добровольцы, беженцы и саженцы.

Мария Затонская

НИЧЕГО СТРАШНОГО

* * *

Не поеду на похороны, у меня обед,
надо поставить суп, налепить котлет,
вместо того чтобы пялиться на худобу
тела, тяжело поместившегося в гробу,
опять размышлять, может, чего найдешь,
может, смерть настоящая, а не ложь,
и как хорошо, что принесли живые цветы
и что голос священника тише той немоты,
которая разрастется
до размеров кладбища, до пределов мира,
вот и думаю:

лучше останусь в квартире
морковь шинковать,
никого не жалеть,
петь свою долгую кухонную песенку.

* * *

Писать стихи –
это отчаяние:
тут эти
дурацкие вещи,
накопить денег на отпуск,
холодный пол осенью,
на плите кастрюля,
которую вчера замочила, –
отворачиваешься к черту,
видишь в окне:
раскачивается от ветра
мыльная пленочка бытия,
блестят чистые-чистые
алюминиевые жучки.
Наконец ущемляешься
во время,
в пространство,
в миллиметре от этого,
на расстоянии вечности.

* * *

Успокой меня: ничего здесь страшного нет.
Вот и хрупкого сада квадрат, и в окне свет.
Только листья так торопливо теперь летят,
что не знаешь, на чем удержать взгляд.
Или снег идет через меня напрямик –
и такая музыка, от которой немеет язык.
Ничего о смерти и о любви не зная,
стою посреди,
невозможно живая.

Григорий Князев

ИНАЯ ЖИЗНЬ

КОЛОДЕЦ

Так страшно заглянуть в колодец,
Как в окна черные метро
Иль в окна северных болотец:
Глядит хитро,
Холодит нутро
Там, в зеркале кривом, уродец.

От двойников своих, от чудищ,
Как от себя, не убежишь.
Вдруг, исчерпавшись, обезлюдешь.
Покажут шиш:
Куда ни глядишь,
Как ни крутишь – и ты там будешь.

Достаточно лишь наклониться,
Считая кольца, глядя вниз, –
И сам как кладезь, как криница.
Иная жизнь,
Приснись, прояснись,
Меж небом и землей граница!

Сквозь бытие, за скудным бытом,
Как в истине – за чепухой,
Как в духе тайном, телом скрытом,
Гулкий, глухой,
Суровый, сухой
Бас Божий слышен: «Кто там? Ты там?»

* * *

*В такую ночь не верь дневным наукам,
когда вокруг всё делается звуком
и различим на слух и вздох, и взмах...*

Елена Лапшина

В густой ночи не зрением, но кожей
Я чувствую: кругом одни враги.
В пустом подъезде пьяные шаги,
Скребется мышь, мой тонкий слух тревожа...
Куда страшней – замри или беги! –
Сходить с ума, не зная – от чего же?

Я всё хочу озвучить и означить.
Одену, как в пижаму, в звук и знак,
Понятный мне, тот дух, что бос и наг, –
И перестанет злая тень маячить.
Не колдовать – по-доброму чудачить,
Уснувший мальчик, сам шагну сквозь мрак...

ОСЕНЬ НА ДАЧЕ

Игорю Голубю

В осенний погружаемся дурман –
От прелых листьев душно, точно в бане.
Бьет в бойкий бубен шут или шаман,
Играет дождь, о бочку барабана.

Вдруг бас-гитара ветра зазвучит –
На сцене Листа сменят металлисты.
Дымок, висящий в воздухе, горчит.
Пасть печки – пропасть, очи комнат – мглисты.

Пока еще мы не сошли с ума
От этих резких запахов и звуков,
Дома накроет с головой зима,
Певучим первым снегом убаюкав.

* * *

Незнание часа смерти – чем не стимул,
Чтоб совершать вседневные дела?
Шкаф разобрал и пол до блеска вымыл,
Ладонь подставил крошкам со стола...

Свой скромный угол долго прибирая,
Из хаоса я космос создаю,
И хоть не знаю всех порядков Рая,
Да будет чисто в комнатном раю!

Дмитрий Тонконогов

ЗИМА ЗАСТРЯЛА В ЧЕЛОВЕКЕ

ИМЯ

Проснешься не в своей кровати,
на электронном циферблате
мерцает только слово *бля*.
Лежишь, как русская земля.

Маршрут построен. Сердце в норме.
Вот пограничник ходит в форме,
горят стигматы на плечах,
подвижен в членах, скуп в речах.

Как по-литовски будет время?
Я уж не помню. И когда
зимы стеклянное растение
пришло в большие города.
Средь белого, должно быть, шума,
как проходимец Аладдин,
я вбил случайно имя Ума
в свой файл *Без имени1*.

В тебе есть кратеры и лунки.
И если с населенным пунктом
тебя каким-нибудь сравнить,
то это будет город Дахла,
где никогда тобой не пахло,
да и сейчас не может быть.

Зима застряла в человеке.
Все фонари ушли в аптеки.
Всю ночь на улице метель.
Коты хранят свое молчанье,
чтоб появиться неслучайно
и утащить тебя в постель.

ЮОЗАС БУДРАЙТИС ФОТОГРАФИРУЕТ СНЕГ

Оптика, микросхемы – всего этого и не надо,
если ты посреди снегопада.
Достаточно лишь моргнуть –
и попробуй, забудь.

Лишнее потом удаляется.
Все, что кажется снегом, но им не является.
Дома, деревья, кривые дороги,
зимние неопрятные травы.
Даже птицы, которые,
казалось бы, имеют право
дополнять такие пейзажи.
Но нет. Идут в топку и они даже.

И вот.
Собранный как-то из Lego
в одном подмосковном селе,
иду по литовскому снегу.
А смысл ходить по земле?

* * *

Человек в пустыне – птица,
зренье острое дано,
но оно не пригодится,
потому что все – равно.

Каменистые просторы
безнадзорны и пусты.
Нет ни Библии, ни Торы,
только чистые листы.

Повело машину вправо.
И в песчаной пелене
вдруг возникла Братислава
с кораблями на спине.

И исчезла. Дело к ночи.
Муза белая, как мел.
Хорошо, что жизнь короче,
чем бы ты ее хотел.

ВЕЩИ

Детонька, куда вы пропали? Почему не звоните?
 Меня навещает Сонечка, последняя из могикан.
 Ночами не сплю, перед глазами Юпитер,
 а может, и солнце, садящееся в океан.

Вчера приходила знакомая Плисецкой,
 показывала фотографию, где она в компании детской
 позирует объективу, а рядом с ней Майя,
 ей бы поспать, бледная вся и худая.

А представьте: на свете только мы с вами,
 гуляем по проезжей части или сидим где-нибудь.
 Приходим домой и глубоко засыпаем,
 так глубоко, что не выдохнуть, не вдохнуть.

Точно подметил, кажется, Алексей Силыч Новиков-Прибой:
 все, что было моим, возьмет себе кто-то другой.
 Но очень сомнительно, случись мне капут,
 что курочку, масло и эту, забыла как называется, заберут.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Старуха Линь бестелесна и холодна,
 ходит повсюду так, словно она одна,
 дети и внуки разбросаны по стране,
 если вычесть ее из меня, то останется все при мне.

Старуха Лань суетлива, в ней много слов.
 Читает «Отче наш» и смотрит поперек голов.
 С другой стороны, готова выслушать и поддержать,
 знает точку, на которую если нажать,
 то происходит нечто, отличное от ничего.
 Умирая, скажет – я любила его одного.

Старуха Лунь – посланец иных планет,
 проходит сквозь стены: не успеешь моргнуть, а ее уж нет.
 Задашь ей вопрос и получишь ответ такой –
 там вдали за рекой начинается твой покой,
 обрести его не получится, как ни крути,
 если хочешь поймать, то чего-нибудь отпусти.

Матушка Феодосия – ключница монастыря
разглядела во мне святого Амвросия и неверного упыря.
Нет креста на тебе, но ты светишься изнутри.
Да хранят тебя Линь и Лань. И Лунь, черт тебя побери.
И навеки прищутив клонутый беркутом глаз,
отворила мне райскую дверцу, где есть электричество, газ.

Евгений Сливкин

ВОЗВРАЩЕНИЕ

КИБИТКА

*Мама, мне вонзили нож в левое плечо,
Кровь отца течет из раны, мама.*

Цыганская песня

Ты не плачь, цыганский ангел
с дрожью в кости плечевой,
пересаженный в газваген
из кибитки кочевой.

Ай, дрисари, кэлдэарары,
ловари и медваши,
видно, ваши тары-бары
стали вдруг нехороши!

– Мама, мама, что творится?
Кукла третью ночь не спит...
Мы ли, мама, не арийцы,
наша ль мова не санскрит?

Где вы, синти, и лаллери,
и корзинщики-рома,
пруссы-литаутикеры?
Сердце спрыгнуло с ума!

Не укроет и не спрячет,
не найдет родню родня;
ребятня кричит и скачет
возле мертвого коня.

Ныла жалобно когда-то
Аполлонова струна:
бассаната, бассаната,
басан, басан, басана!

Не оставят недобитка –
сгинет мал и сгинет стар:

опустевшая кибитка
прикатилась в Бабий Яр.

* * *

В своей палате в окруженье пятен
на простыне, с боков до пола свисшей,
он был без перебоев адекватен
реальности, но высшей, только высшей.

Когда его везли по коридору,
он узнавал во встреченной калеке
то мертвую жену, то мать, которой
не стало многим раньше, в прошлом веке.

– Меня ты узнаёшь сегодня или...? –
я спрашивал в расчете на вниманье.
– Тебя-то я узнаю и в могиле, –
открыв глаза, сказал он на прощанье.

Я не любил по кладбищу влачиться.
Но если приползал, как черепаха, –
бывал опознан каждой частицей
его всепроникающего праха.

У РЕКИ

– Если век прождать у реки,
проплывет по ней труп врага, –
говорили мне старики.
Я кивал им в ответ: – Ага!

Стариков этих рок берёт,
но задолго до нулевых
они брали под козырек,
и река уносила их.

Пережили ГУЛАГ и ВОВ,
получили свое сполна;
оставались у нищих вдов
фотографии, ордена...

Я не принял завет всерьез,

и легко меня от химер
отвлекала игра стрекоз
и шагающий водомер.

Скоро мне по течению вод
тихим брассом – в камыш-кугу...
Я надеюсь, что кто-то ждет,
не моргая, на берегу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я тихо исчезну из жизни своей,
за пылью суконных кулис,
и станет она – эта жизнь – посветлей,
проявит какой-нибудь смысл.
Ты все в ней расставь по местам и отмой
от пятен – не брезгуй трудом,
как прежде, когда возвращался домой
я после отлучки, – и дом
поблескивал стеклами окон-витрин,
готовый принять на постой, –
спокойным порядком гордился внутри,
умиротворял чистотой.
Ты призраку скажешь сердитое «Брысь!»,
один кавардак от него.
И все-таки в жизни моей приберись –
а вдруг она стоит того!

Евгений Степанов

МОИ ЛЮБИМЫЕ ГЛАГОЛЫ

ОДИН ИЗ

Нивы сжаты, рощи голы...

Сергей Есенин

Я кто? Никто. Один из миллионов страждущего люда.
Вот цель. А ты поди возьми.
Возьмешь – и это будет чудо.

Но цель моя – сквозь боль невзгод
Идти, и цель прозрачна эта.
В меня вмонтировали код
(С зачатья) Нового Завета.

Пусть на душе не тишь да гладь
И нивы сжаты, рощи голы, –
Любить, преодолеть, отдать –
Мои любимые глаголы.

БОЛЬ

ЗОЛ ГЛОД!

МОР НАГЛ!

НОЖ ГОРД!

МИР ПАД!

Алексей Крученых

Непросто боль постричь под ноль.
Земшар становится юдолью,
Когда физическая боль
Сливается с душевной болью.

Слова пусты. Но крик и вой
Навряд ли назовешь пустыми.
...Я, как Крученых, сам не свой,
По городской бреду пустыне.

Повсюду желтые дома
И почерневшие руины.
Я не сошел пока с ума –
Своей лишился половины.

ВОЛШЕБНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Из песни моряка и света маяка
Рождаются корабль и сила капитана.
Из боли и греха рождается строка,
Из воли и стиха рождается нирвана.

Нирвана – хорошо. А все-таки готовь
Себя к тому, что жизнь сгорает, как полено.
Из долгих-долгих лет рождается любовь.
Влюбленность побыстрей, рождается мгновенно.

Влюбленность не любовь, сомнений в этом нет.
Влюбленность иногда опаснее, чем бритва.
Из серых горьких дней рождается памфлет,
Из веры и любви рождается молитва.

Жизнь можно обмануть. Но сколько ни мухлюй,
Не облапошишь смерть, то смертным не по силам.
...А на щеке моей остался поцелуй,
В о л ш е б н ы й поцелуй – его не смоешь мылом.

А значит – стоит жить, а значит – жизнь права.
Хоть эта правота не сказки Голливуда.
Из нежности моей рождаются слова.
Из нежности твоей – спасение и чудо.

Александр Амчиславский

ИДЕТ ВОДА

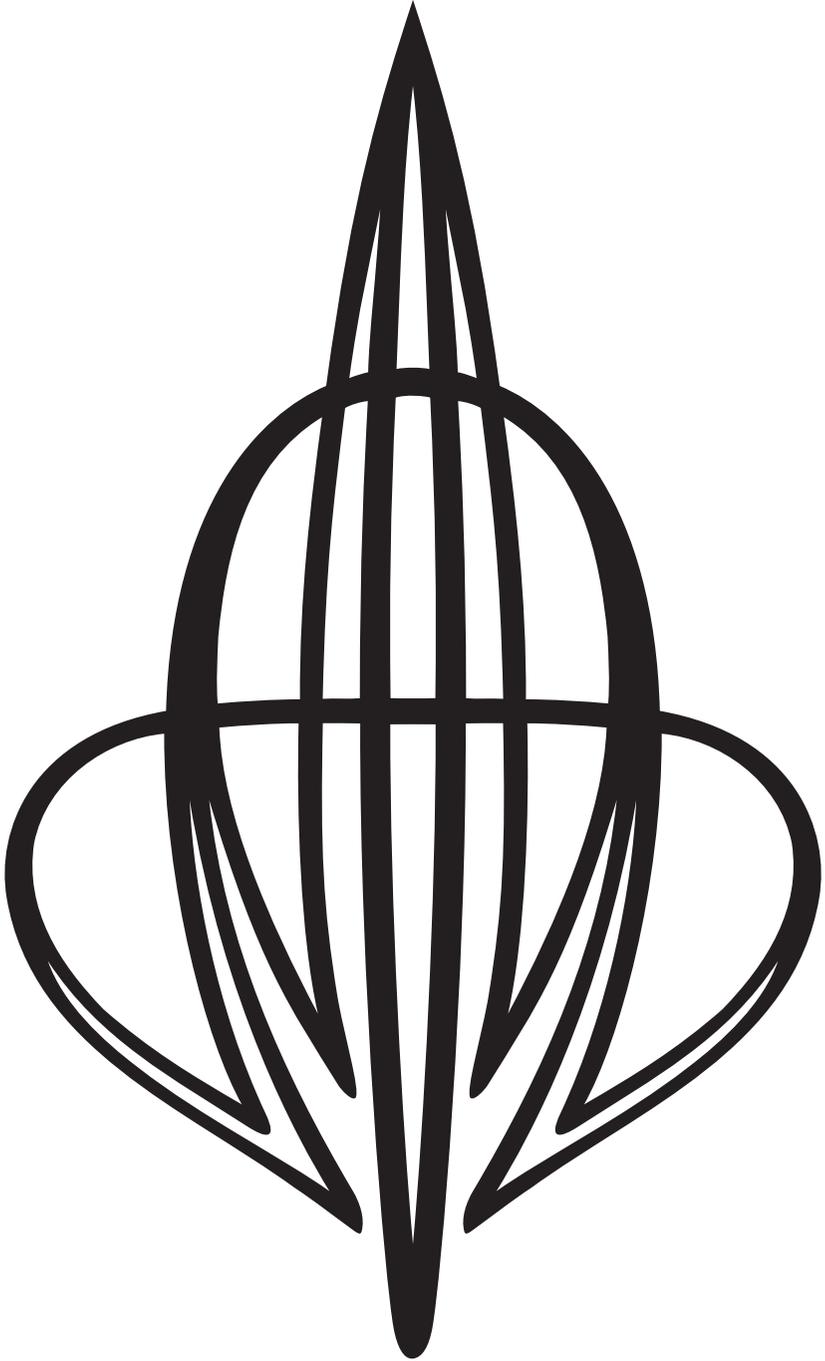
* * *

Вот так читать, читать, читать,
забородатеть в мальчуганах
и никого из тех, чеканных,
и не достичь, и не застать.
Казалось, руку протяни,
скользнешь сквозь лютики да лютни
в никем не считанные будни,
чужой судьбы златые дни,
как в грудь, уткнешься в чей-то слог
и в чей-то воздух незнакомый,
и, выходя из долгой комы,
уже не вовсе одинок,
вычитываешь – «смерти нет» –
без лишних сносок, без курсива,
и те, кто раньше были живы,
с другими всеми наравне
тобой соединяют круг,
и плакать незачем и нечем,
когда цикад нелегкий труд
зовет на вечный подвиг певчих.

* * *

Когда уже ни сказок, ни волшебств,
ни рыбьих песен в долбаном корытце
и юный пух, легко освоив рыльце,
за всё про всё оборотился в шерсть,
когда ночами, будто на посту,
нейметя, как на временном постое,
и свет мой зеркальце давным-давно пустое
по эту сторону и, как ни плачь, по ту,
когда не надо спрашивать «когда» –
всё слишком поздно или слишком рано,
идет вода – держите ворота
открытыми для моря-Окияна.

VERBA POETICA



Андрей Грицман

МЕЖДУ ПОЭЗИЕЙ И МЕДИЦИНОЙ

Мое первое впечатление от искусства хирургии было незабываемым. Я ассистировал моему отцу, хирургу, на срочной операции по поводу кишечной непроходимости, наступившей в результате заворота кишок. Если такого больного вовремя не прооперировать, произойдет омертвление участка кишечника, и неизбежен летальный исход. Искусство хирурга состоит в том, чтобы без промедления удалить перекрученную часть кишечника и тем самым восстановить его нормальную функцию. Поэтому подобного рода операции всегда выполняются как неотложные.

В тот вечер я стоял рядом с отцом, сжимая в руке какие-то инструменты, – не помню, что именно мне разрешалось делать. На операционном столе лежал мужчина среднего возраста, механик, отец троих детей. Он был в сознании и разговаривал с хирургом, в то время как его живот был вскрыт и видны были петли кишечника. Отец оперировал, то и дело добавляя инъекции новокаина во все более глубокие участки кишечника, где располагаются нервные окончания.

Мой отец был великолепным хирургом, одним из любимых учеников и ассистентов знаменитого А.А. Вишневого, сына и последователя А.В. Вишневого, родоначальника метода глубокой местной анестезии при полостных операциях (так называемое обезболивание по методу «ползучего инфильтрата»). Будучи одним из его постоянных ассистентов, мой отец в совершенстве овладел этим методом и использовал его даже при таких серьезных операциях, как удаление легкого или мастэктомия, которые он умел производить без общего наркоза, только с предварительной инъекцией.

Все это очень впечатляло и выглядело героически, но я выбрал другое направление. Я рассматривал возможность стать хирургом, следуя совету моего отца и ассистируя ему среди ночи, однако в хирургии мне не нравилась ее кропотливая сторона, когда часами приходится что-то держать, вязать узлы, не сдвигаясь с места... Медицина сродни искусству. Замечательный пианист не может одновременно быть хорошим художником. Любая медицинская специализация требует определенного склада личности, и развитие характера врача происходит по мере развития его как специалиста. Хирург, который недостаточно решителен, – плохой хирург. Акушер, который любит ложиться в определенный час и спокойно спать до утра, не может достичь успеха в своей профессии.

Моя мать была патологоанатомом, известным в области ревматических заболеваний. Так что и я стал патологом. Тогда мне представлялось, что от моих заключений будет, в основном, зависеть постановка диагноза. В свои двадцать лет я видел себя неким всезнающим гуру. Я считал, что патанатомия – наиболее интеллектуальная из всех медицинских специальностей, а поскольку меня всегда привлекала наука, я сделал свой выбор. На самом деле, я по-прежнему так думаю. У меня были длительные периоды отчаяния, поскольку мне казалось, что с моим агрессивным характером мне больше подошло бы иметь непосредственный контакт с пациентом, осуществляя полный контроль и обладая возможностью собственноручно решать все проблемы.

* * *

Это было время выдающихся открытий в области генетики и быстро развивающейся области иммунологии – пересадки органов и иммунологии раковых заболеваний. Еще будучи старшеклассником, я купил интереснейшую книгу о клонально-селекционной теории развития клеток, написанную нобелевским лауреатом сэром Фрэнком Макфарлейном Бёрнетом. Мне все это казалось невероятно интересным, так как именно там находится разгадка проблем, связанных с раком, пересадкой органов и т.д. Мой отец, отлично знавший иммунологию того времени, специалист по лечению хронической инфекции, имевший широкое представление о сопротивляемости организма, был решительно против моего растущего интереса. Дело в том, что он принадлежал к поколению ученых, пострадавших в сталинскую эпоху, – пережил ссылку в Среднюю Азию на строительство Каракумского канала. Некоторые его друзья и родственники прошли через сталинские лагеря; некоторые погибли. Я же был частью так называемого «хрущевского поколения», в период «оттепели». Солженицын только что опубликовал свою знаменитую повесть «Один день Ивана Денисовича» и несколько коротких рассказов. Повеяло свежим ветром, когда молодые поэты Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Окуджава читали свои стихи на переполненных стадионах. Это было неслыханно, ничего похожего не было со времен Маяковского. Я сам бывал на их чтениях. Впоследствии некоторые из этих молодых бунтарей (Евтушенко и Вознесенский) стали послушными винтиками государственной машины, но во времена моей юности это был бунт! Общеизвестные стихи Евтушенко «Бабий Яр» и «Наследники Сталина» печатались в официальных газетах, а мы перепечатывали их на пишущих машинках.

Печаталось множество литературных произведений, описывающих страдания людей в сталинские времена, появилось нонкон-

формистское искусство. И все-таки мой отец, как и многие другие из его поколения, был очень осторожен, боясь, что вернется прежняя ситуация и те, кто «засветился», пострадают. Поэтому его очень беспокоило мое намерение получить образование в Московском университете в области химии или биологии и стать научным работником. Он объяснял это тем, что в случае обострения обстановки в стране я могу лишиться работы или даже попасть в лагерь и погибнуть. Несмотря на то, что времена были сравнительно спокойные (в первой половине 60-х жизнь налаживалась; у нас были машина и кооперативная квартира), отец говорил: «Кто знает, если, не дай Бог, ты окажешься в лагере и ты врач – ты выживешь. Ты умеешь что-то, чего не умеют другие. Выживает сильнейший – ужасный закон Дарвина».

Так что я поступил в 1-й Московский медицинский институт и был там очень счастлив, после нескольких скучнейших лет в школе (алгебра, тригонометрия). Я чувствовал себя на своем месте. Я понимал и ощущал структуры организма – анатомия, гистология были мне близки. Я осознал, что правильно выбрал специальность, потому что чувствовал эту материю жизни. Не абстрактно, не умозрительно, а прямо и просто: биение сердца, бугристость височной кости, вакуоли клеток – все эти реальные структуры и явления, не плоды воображения или математические модели.

*Все ухает медленно баба копра
обычно под утро по темени.
Тащиться дворами во тьме по утрам
в урок бесконечный, вневременный.*

*Давно уж наполнен бассейн до краев,
труба бескорыстно все гонит
в бездонный логически водоем.
И пересчитать перегоны*

*от города А до города Б
не хватит физтехомехмата.
И в зыбкую ткань остранинной судьбы
вонзается керн сопромата.*

*Но мне повезло, и я избежал
логический карцер расчета.
Открытые скальпели тысячью жал
открыли мне смысл переплета*

нейронов, синапсов, пульсаций узлов,

*мерцанье их ада и рая.
Когда понимал я бессмысленность слов,
по кости височной гадая.*

Вот почему из всех «точных наук» меня больше всего привлекала химия, наука, так сказать, «полу-точная». Помню, когда я пришел на химический факультет Московского университета в день открытых дверей, профессор продемонстрировал, как смесь нескольких полупрозрачных жидкостей быстро превращается в затвердевающий гель. Я знал, что это просто химическая формула, основанная на математических расчетах, электронах, положительных и отрицательных зарядах и т.д., и все-таки реальность превращения вещества в иное физическое состояние меня поразило. Поэтому я знал химию хорошо, получил высший балл на вступительных экзаменах и был принят в желанный 1-й Медицинский институт им. Сеченова. Я был представителем третьего поколения в медицине. Славно было идти по стопам моих родителей, многие профессора и преподаватели узнавали мою фамилию, поскольку в свое время вместе с ними учились. Вообще в Москве это было комфортно – принадлежать к хорошо известной медицинской семье, даже после окончания Медицинского института, когда я поступил в аспирантуру. Обучение и опыт в области иммунопатологии и иммунологии и ряд опубликованных мною статей очень помогли мне в трудный период становления в Соединенных Штатах. Много раз я возвращался на Пироговку, на «Аллею жизни», и каждый раз возникало только это чувство:

*Пройду по Пироговке, упаду
на тот асфальт, где мы в футбол играли.
Теперь там мрачный Фрейда институт
у той пельменной, где психоанализ
практиковали мы на девках наших.
Они, крутя динамо, не давали, не понимая,
что нас лучше нет.*

*Теперь, три с половиной жизни после,
сажу в кафе на ряженом Арбате
и слушаю Охотный звукоряд,
и думаю: зачем я здесь сажу?*

*Я знал, это ошибка – возвращаться
к засохшим сотам восковой фигурой,
храня в глазах потусторонний дым.
А подойдешь поближе – он густеет
и, постепенно превращаясь в слепок,*

*становится глазами у сфинкса,
что навсегда притягивают взгляд.*

*Наверное, долги за детство платят так,
в который раз бессмертно выходя
в московское заснеженное поле,
и каждый раз на сквере превращаясь
в седого купидона-пионера
(с комком у бледно-гипсового горла),
сжимающего вместо горна лук.*

*Я ждал тебя в условленном метро
(что означало разрушение дома)
под циферблатом с ликом Фаренгейта,
навечно перепутав города.
О, только бы дожждаться, ждать до лета,
чтобы потом нам вместе затеряться
хоть в Аризоне, в Юте, навсегда.*

*Но поздно, холодно. Да и рукой подать
до той зимы: декабрь по Фаренгейту,
озноб по Цельсию, заботы по-английски,
советы доброхотов – лепет детский,
а в снах чудесных слов не разобрать.*

«Москва слезам не верит». Людям, приезжавшим в Москву, не приходилось рассчитывать на свои прежние достижения, а лучше было забыть прежнее положение и играть по правилам этого огромного жесткого города. Нечто подобное происходило здесь, в Америке, с пришельцами со всего мира – хорошо воспитанными детьми высокообразованных родителей с Ближнего Востока, русскими евреями из интеллигентных семей деятелей науки или искусства, представителями высших каст из Индии. А в медицине одним из лучших способов пройти тяжкую школу отрезвления и подняться по карьерной лестнице было прохождение американской резидентуры.

* * *

Два года, предшествующие эмиграции, были нелегкими. Мы подали документы на выезд по израильскому вызову, весной 1979-го и надеялись уехать через 8–10 месяцев. За этот период мы рассчитывали освоить английский, а я – подготовиться к вступительному медицинскому экзамену в Америке (ECFMG), который позволил бы подтвердить мое медицинское образование

и поступить в американскую резидентуру. Однако в 1979-м разразилась война в Афганистане. По каким-то, до сих пор не вполне понятным, соображениям Советский Союз решил взять это дело в свои руки. В Афганистане произошел кровавый государственный переворот; советские десантники захватили дворец президента (типичное развитие событий!), доставили его отрубленную голову в Москву и началась долгая жестокая война против афганских бойцов джихада, с участием Осамы бен Ладена.

В это время эмиграция из Союза была полностью остановлена. В итоге я на два года остался без работы и должен был летом 1980 года отправиться на юг России, в Воронежскую область, где зарабатывал тяжелым физическим трудом по 12 часов в день, чтобы обеспечивать свою молодую семью. При этом я продолжал ощущать себя доктором, имеющим определенный профессиональный и социальный статус. Впрочем, я не унывал – продолжал читать медицинские статьи и готовиться к экзамену в Америке.

Вспоминаю одинокие часы ранним утром, когда был перерыв в работе, (я какое-то время трудился на пасеке, посреди рощи, вдали от ближайшего городка), или в поздние вечера, когда бродил по лесу. Я беседовал сам с собой, используя только что выученные английские слова и перечитывая главы из *The Merck Manual* или *Harrison's Principles of Internal Medicine*. Я прекрасно понимал, что не было почти никакой надежды когда-либо использовать эти знания. Тем не менее эти занятия спасали меня от депрессии и безумия, от искушения все бросить и заползти в какую-нибудь нору, полностью поменять жизнь. Иначе говоря, забыть о возможности оказаться в свободном мире и остаться в нем тем, кем был всю жизнь, – врачом. Я помню треск падающих деревьев, которые валили местные лесорубы, пока я шел по лесу, повторяя и запоминая типичные фразы докторских дискуссий во время утренних обходов в американских больницах.

Другим стержнем моей жизни была поэзия. К 1980 году я уже несколько лет всерьез писал стихи. У меня имелась подборка, напечатанная на пишущей машинке, как это в то время делалось; самому издать свою книжку было невозможно. В сущности, делать такие машинописные издания было весьма опасно, поскольку это считалось противозаконным и могло рассматриваться как антисоветская пропаганда. Поэтому мы читали свои стихи в узком кругу друзей и обменивались машинописными копиями. К сожалению, несколько последних лет перед выездом я был настолько поглощен изучением языка, подготовкой к медицинскому экзамену и зарабатыванием средств на жизнь для моей семьи, что поэзия временно отошла на второй план. Тем не менее, бродя по лесу, я старался сложить несколько стихотворных

стих, метафорически описать происходящее вокруг. Я пытался в стихах остановить полет времени. Любопытно, что эти ощущения и образы всплыли в некоторых моих стихотворениях, на обоих языках, двадцать-тридцать лет спустя. Мне говорили, что в них уже узнаваем мой голос. Стихи – загадочные создания, способные подолгу таиться в сумерках подсознания или в забытой тетради, а потом внезапно вылететь в небо, подобно птицам. И обрести свою жизнь.

Меня неоднократно спрашивали, как связана моя поэзия с медициной. Мой обычный ответ – никак, это два разных полушария, два разных человека. Но мне интересно использование медицинского языка – слов, понятий – в поэтическом тексте. Это создает поэтическое напряжение, идиосинкразию, которые столь важны в поэзии.

АНАТОМИЯ ЛЮБВИ

*Вен венок, «Медуза горгона»,
arbor vitae, борозд корона,
древовидная вязь мозжечка.
По височной кости читая,
за преградой, за чудным барьером,
в веществе горделиво-сером
две мечты лежат, как чета.*

*Сухожилий бережны пальцы,
и нанизаны нежно пальцы,
и затопленный сердца склеп,
шеи ствол с кольцеваньем лет.
Помнишь, в детстве покои мумий,
сто костей известковых в сумме,
где солей сероватый след.*

*Сочащиеся грозди почек,
средоточие мочеточников
и седалищный разворот,
перистальтики юркий крот.
Замечательно ниспадая,
лабиринты переплетает
в глубине слоистых пород.*

*Кровяная сизая окись,
слизистый купорос и пасынок волос,*

*в темноте отсидевший срок.
Фавна витиеватый рог,
замерший, как усталый мальчик,
все бегущий во сне на даче:
голенаст и членистоног.*

*И змеящийся эпителий,
пока тело лежит в постели,
неустанно шуришит в ночи.
Только тень на стене молчит.
И кто знает, что с нею будет,
когда шум случайный разбудит
и душа во сне закричит.*

В медицине опыт невероятно важен. Но то же самое и в поэзии. Дело не в том, что ты пишешь лучше потому, что пишешь дольше. Дело в том, что душа обретает свой собственный голос в шуме жизни. Или, по выражению Мандельштама, в «шуме времени». Жизнь – это процесс сбора материала для выражения средствами искусства, при условии что художник не боится заглянуть в глубину своей собственной жизни, своих слабостей, опасений, в то же время увековечивая счастливые моменты, ушедшие навсегда, но готовые к обжигу в огне искусства, излучая свет и отбрасывая тени прошлого, оживающие в твоём доме.

После двух лет ожидания мы получили, наконец, визу на выезд из Советского Союза. Я не имею понятия, что повлияло на решение властей позволить нам (в числе нескольких сотен других московских семей) выехать зимой 1981-го. Это было чудом, шанс был ничтожным, и мы его использовали. Нам не пришлось полюбоваться Веной, поскольку незадолго до нашего прибытия палестинские террористы в венском аэропорту совершили очередное покушение на жизнь советских евреев, направляющихся в Израиль. Поэтому венская полиция вместе с израильскими агентами в штатском сопроводили нас в огромный, надёжно охраняемый замок, принадлежавший когда-то некоему вельможе, а затем – Красному кресту, после чего нас отвезли в Еврейское агентство, Сохнут. Мы приняли решение отправиться в Соединенные Штаты. Так что нас отправили в Рим, где я продолжал заниматься и начал поиски работы в Соединенных Штатах, на восточном побережье, между Вашингтоном и Нью-Йорком, где у нас были друзья и где культура, как мы считали, была ближе к нашей.

После двухмесячного ожидания визы мы высадились из самолета в аэропорту JFK 21 мая 1981 года с двумя маленькими детьми, пяти и восьмью лет, четырьмя чемоданами и 524 долларами в кар-

мане. Это было все. Прежняя жизнь – родственники, друзья, одноклассники, коллеги из медицинского института – осталась позади.

Все, что было потом, можно назвать “success story”, мне повезло. Кое-кто из моих друзей по медицинскому институту работал уже в NIH (Национальном институте здоровья), кто-то из них был научным сотрудником в NCI (Национальном онкологическом институте). У меня имелось несколько опубликованных статей. Кроме того, заместитель директора NCI Dr. Bruce Chabner был знаком с некоторыми из моих научных руководителей на другом конце света, в Советском Союзе, – по публикациям или лично. Таким образом, я получил Fogarty International Fellowship (грант для иностранных ученых) в медицине и провел интереснейший год в NCI, в отделе лечения онкологических заболеваний. Мой опыт в иммунологии и знание клинической патологии очень помогли: я чувствовал себя на своем месте, – в течение первых месяцев сделал несколько научных докладов и умудрился опубликовать пару статей. Я не вполне представлял себе, насколько это было важно для моей дальнейшей карьеры, – работа в Институте онкологии и опыт в научных исследованиях. Мой босс Dr. Paul Vunn (онколог, впоследствии президент Американского онкологического общества) объяснил мне это просто: «Андрей, если ты планируешь делать карьеру в науке, тебе надо лет пять поработать со мной в NCI, чтобы подтвердить свою русскую научную степень. Но если ты хочешь стать американским врачом, против чего я совершенно не возражаю, ты можешь уйти, когда сочтешь нужным, однако помни: серьезную науку ты покидаешь. Потому что в течение нескольких лет тебе придется очень, очень напряженно работать, проходя через жесткую систему медицинской подготовки». Но решение было принято мной за несколько лет до этого, в глубине лесов южной России.

Резидентура в патологии представлялась мне естественным продолжением карьеры, так как я уже прошел сходную программу в России и активно участвовал в научных исследованиях. Но если честно – не раз впоследствии я сомневался, правильную ли специализацию выбрал. Я боялся оказаться на вторых ролях в медицинской системе, не имея ни своих пациентов, ни возможности контролировать лечение и взаимодействовать напрямую с больными. Я был близок к тому, чтобы оставить патологию и пойти в резидентуру по терапии в Медицинском центре ветеранов, где я тогда проходил стажировку. Но в конце концов поступил в резидентуру по патологии в Медицинском центре университета Джорджа Вашингтона.

*Администрации ветеранов окостеневшее ведомство.
Госпиталь – крепость на останках пожарщика.*

*Калеки Вьетнама от времени в бегстве
под утро в палатах с наркотиком тающим.*

*Там Marlboro – газ, пожирающий легкие,
там роботов речь через трубки гортанные.
Я помню лицо обгорелого летчика,
который коснулся крылом камикадзе.*

*И юных врачей полуночные бдения.
Надежды и письма в Москву покаянные.
В искусственном воздухе, словно растения,
те лица статичны на расстоянии.*

*Четверть столетия любви и рассеяния,
покоя в потере последнего дома, но
себя осознания в каждой потере, и
со временем найденный временный дом.*

*Я помню – сквозь темный раствор охранительные
плывут вертолеты на базу в Вирджинию.
Так память смывает черту ватерлинии
между двумя несравнимыми жизнями.*

Я остался в патологии, через несколько лет стал опытным диагностом в области онкологических заболеваний и никогда больше не жалел о своем решении. Также я освоил цитопатологию, производил процедуры пункционной биопсии и стал экспертом в этой области. Поскольку у меня накопился существенный исследовательский и клинический опыт, меня несколько раз приглашали коммерческие фармацевтические компании на должность директора отдела медицины. Я всегда отказывался. Я люблю утром приходить в больницу, обмениваться шутками с лаборантами и медсестрами, которых знаю по работе в операционной. Кабинет для срочных биопсий располагается непосредственно в операционном корпусе, и хирурги часто заходят туда, чтобы взглянуть на образец, пообщаться, вместе посмотреть в микроскоп и сообща принять решение. Это то, что я люблю. Гора случаев на моем столе, и каждый препарат – чья-то жизнь (или смерть...). Иногда и пациенты приходят с вопросами. Их часто направляют ко мне (в случае проблемы со щитовидной железой или с молочной железой), чтобы сделать аспирацию и посоветовать, нужно ли пациенту лечиться на операцию.

* * *

С годами у меня сложилась собственная философия, объясняющая, что именно меня привлекает в медицине. Каждый доктор должен уяснить это для себя, а не просто быть знающим врачом, зарабатывать хорошие деньги и использовать свои знания и умения. Поэтому я, несмотря на хорошую подготовку и знание всевозможных протоколов, режимов и политики, близкое знакомство со всеми этими магическими терминами и концепциями, всегда имел свою философию относительно моего места в медицинском процессе. Как клинический патолог-диагност, я всегда считал своей главной задачей предотвратить причинение вреда пациенту – будь то слишком обширная или просто ненужная операция, безнадежная химиотерапия, продлевающая жизнь, скажем, с шести до семи с половиной месяцев, или серия ненужных тестов (иногда весьма опасных). Последнее напрямую связано с главной проблемой американской медицины – унижительными, разрушительными и деморализующими судебными процессами по поводу медицинской ошибки. Я сам несколько раз становился их жертвой.

Я, как уже упоминал, специалист по молочной железе и диагност в области онкологии. Одно из моих самых тяжелых воспоминаний – необоснованное судебное разбирательство случая рака молочной железы (присяжные меня полностью оправдали). Опытный, циничный адвокат пациента хладнокровно обвинял меня в попытке убийства больной, которая сидела тут же со своей семьей, и цитировал строки Джона Донна: «По ком звонит колокол; он звонит по тебе».

* * *

В начале нового тысячелетия я понял, что избранная мной специализация (диагностика онкологических заболеваний) была еще более неслучайной, чем казалось. Я говорю о стремительном развитии молекулярной медицины – диагностики болезней, основанной не только на химическом анализе компонентов крови и исследовании изменений тканей, но и на идентификации молекулярных аномалий, указывающих на определенное заболевание. Это интереснейшая область современной медицины, связанная с расщеплением нуклеиновых кислот ткани, результат которого можно наблюдать (флюоресценция *in situ*, иммуноцитохимические методы, и проч.). Метафизически это то же самое, что превращение двух смешиваемых жидкостей в гель – переход материи в новое состояние, за которым я с восхищением наблюдал еще школьником.

* * *

Мой отец приехал ко мне в гости в Соединенные Штаты и был очень тепло встречен хирургами в больнице, где я тогда работал (Lenox Hill Hospital в Манхеттене), так как американские коллеги знали его имя и изобретенные им специальные аппараты в области сшивающей хирургии.

Он умер в возрасте 73 лет от злокачественной опухоли мозга. Когда ему поставили диагноз, я полетел в Москву, чтобы быть рядом с ним, а также самому посмотреть препараты. Это была все та же привычная Россия: хорошие, умелые хирурги, медсестры, подчас очень добрые и ответственные, недостаток медикаментов и ужасные условия. Мой отец был помещен в престижный Институт нейрохирургии им. Бурденко, куда старались попасть многие. Он лежал на узкой койке в палате на четверых больных, после краниотомии и операции на мозге. Все пациенты были влиятельными людьми – различные руководители и администраторы из провинции, иначе в институт было не попасть. Их жены приезжали и жили с ними в палате, поскольку не хватало нянечек и санитарок. В Москве в те времена остановиться было негде, да и денег на это у них, видимо, не было, так что жены спали валетом, в одной койке со своими мужьями, перенесшими операцию на мозге. Я водил своего отца, спустя несколько дней после операции, в общий туалет в коридоре, где стекла в окнах были выбиты (дело было поздней осенью!), обрывки газеты служили туалетной бумагой и заядлые курильщики с забинтованными головами дымили крепкими сигаретами без фильтра.

Похоронили отца в Москве, на Введенском (Немецком) кладбище, в районе Лефортово. Это старый район, основанный в начале XVIII века, при Петре I, немецкими мастерами, строителями и военными, приглашенными царем в Россию. Позднее на этом кладбище хоронили людей из высшей прослойки московского общества – профессоров, военных, а в советское время – представителей научной, театральной и военной элиты. Здесь похоронен мой дед, герой Второй мировой войны. Теперь рядом с ним лег мой отец. А год спустя – моя бабушка. Это место стало моим настоящим домом в Москве, после того как в центре города произошло столько безвкусных изменений благодаря избытку денег, нефти и газа. На кладбище, в этом уголке мира, все остается по-прежнему: чугунные ворота, заросшие травой дорожки, маленькие склепы, крошечная церковь. В июне все покрывается летающим повсюду тополиным пухом. Это как летний снегопад, особенно в этой части города, где так много старых тополей. Кладбище кажется укутанным тяжелым безмолвным снежным покрывалом.

ВВЕДЕНСКОЕ

*Возле Семеновской взять левака:
азербайджанец, Чечня или Нальчик.
Дальше – Бурденко,
Лефортова остров.
Словно висящий в сознании остов
в отсвете города – вроде огня.*

*Неизменяем знакомый уклад
в этой безвременной летней метели.
Я приезжаю сюда иногда.
Это отрава моя и отрада.
Словно лечебная, эта беда
в чаще древесно-гранитного сада.*

*Все здесь по-прежнему, даже трамвай.
Рельсы, ведущие в мутную бездну
фабрик и складов, в Кукуй, Разгуляй.
А за оградой – немые слова,
пластик цветов и иссохшие вести.*

*Пыльный гранит и медленный шорох,
крылья улыбки на мертвенном камне.
Я обращаюсь к лефортовской ели:
где мне искать эти старые тропы?
Вот и бреду к чугунным воротам
весь по колено в июньской метели.*

В сложные периоды моей жизни (смерть отца в России, болезнь матери в Нью-Джерси, два развода (профессиональная опасность поэта?), тяжелый развод дочери с моим младшим приятелем-поэтом) очень помогала моя врачебная практика. Привычный стресс, напряженный режим, профессиональные проблемы – все это держало меня на плаву лучше, чем любой психиатр или прозак. Ежеутреннее облачение в свежую рубашку, галстук и белый халат было таким же священным обрядом, как для офицера – надевание военной формы и кобуры с револьвером.

Моя дочь, которая в то время была интерном в Нью-Йоркском госпитале, после жила в моем доме, и я был рядом с ней, представителем четвертого поколения врачей в семье (первые три – из 1-го Московского медицинского института, она – выпускница Медицинской школы Нью-Йоркского университета). Я иногда думал о том, что, если бы мои бабушка и дед во время своего почти кругосветного путешествия, спасаясь от гражданской войны в

России, не приняли решения вернуться в Москву, моя жизнь могла сложиться по-другому. Они вполне могли двинуться в другом направлении и очутиться в Нью-Йорке, где родился бы мой отец и стал бы великолепным хирургом в замечательном городе. А я (или кто бы там у него родился) был бы одним из привилегированных детей в семье доктора и, возможно, тоже поступил бы NYU. Впрочем, я никогда не жалел, что они все-таки повернули на север, а не на запад. Это подарило мне мою двуязычную, двойную жизнь. Моя поэзия, возможно, была бы совсем иной и не обрела бы свою жизнь в межкультурном, межъязыковом пространстве, между молотом и наковальней.

Многие не осознают, что медицина предполагает определенный тип мышления, почти подсознательное, интуитивное ощущение клинической ситуации. Это как полицейский или военный – вы или способны на это, или нет. Это определенный тип личности. Как документ с суровой надписью «не для передачи». Ключевая способность патолога – умение (или талант) распознать в ткани картину аномалии. Так же, как рентгенолог, который использует рентгеновские лучи и никого не оперирует. Или доктор-диетолог, или психиатр, которые проверяют результаты анализов, беседуют с пациентом и рекомендуют способ лечения. Во всех этих случаях доктор принимает решения, основываясь не только на своих обширных знаниях, но, что очень важно, и на врожденной интуиции, созревшей за годы врачебного опыта. Когда я обсуждаю случай рака молочной железы с хирургом, рентгенологом или онкологом, я беру в расчет историю болезни (клиническую ситуацию, возможные осложнения лечения), равно как и морфологическую картину, увиденную под микроскопом.

Однажды патолог-ординатор показал мне фотографию образца: случай внематочной беременности, где сформировавшийся эмбрион выглядывает из открытой фаллопиевой трубы, как космонавт из космического корабля. Я почувствовал красоту этой картины, красоту природы, сходную с красотой деревьев (знают ли они, насколько они великолепны?), котов, и т.д. Хотя я целиком и полностью за права женщин, эмансипацию и проч., я не сразу понял, насколько неправильно и негативно это стихотворение будет воспринято на американских поэтических чтениях, где следят за политкорректностью каждого слова:

*Весь мир мерцал внутри моей Вселенной,
в переплетеньи теплых струй пульсаций,
питая жизнь надежд, вязь построений,
и безнадежно гас на фоне смерти.
Я мог бы быть отцом, сестрой, Спасителем,*

*судьей и плотником, и палачом, и сыном.
 Но путь моей судьбы был позабыт –
 потерянная нить ладонных линий.
 Я не был, не существовал
 в сухом реестре вечного учета.
 Но всё же, братья, сестры, мы
 были связаны, и вас я узнавал
 в дыхании из безвоздушной тьмы
 на корабле последнего полета.
 И только вы оцените мой дар,
 мои достоинство и таинство, загадку
 и то, что мир, быть может, избежал
 моей судьбы зияющей расплаты.
 Но помните, что существуют те,
 кто смотрит в мир с бессмысленной улыбкой.
 Они из абсолютной пустоты,
 без боли, сожаленья, без мечты
 меня и вас сочтут пустой ошибкой.*

И это подтверждает мое ощущение, что поэзия автономна, что искусство не имеет отношения к конкретным политическим или историческим обстоятельствам и что медицина прекрасна и по-своему – вид искусства. Эстетические и метафизические аспекты медицины так же важны для жизни пациента (как человека, а не просто очередной истории болезни), и это делает медицину выбором жизни.

Со временем все меньше становишься зависим от внешних обстоятельств, от «между тем и другим», от контекста жизни – и остаешься наедине с собой, вслушиваясь в монолог души. Им и является поэзия, то есть настоящая, все менее зависимая от приемов искусства и фокусов культуры. И он, этот монолог, все далее отплывает по мере истечения времени и

*Не читки требует с актера,
 А полной гибели всерьез.*

Исповедь души звучит как дальнее эхо, когда и слов не разобрать; музыка, интонация, шум времени остаются. Кафка в дневниках писал, что есть черта, которую, если перейти, возврата не будет. Цель (художника) – достичь этой черты.

Так что не надо бояться – только слушать и слышать.

*Я дышу вместе с лесом по мере движения крон.
 Подступает дыханье с пяти окоемых сторон.*

*Замолкает знакомый мне дятел.
Снег лежит до утра, до апреля, до мая, пока
не наступит пора
всем зайти на чайк
в мой просвеченный дом,
за вечерний порог.
И послушать со мной
хруст заросшего леса,
тихий скрип половиц.
Когда там никого –
тот язык, на котором молчит
душа места.*

*Здесь плывут облака ледяных островов,
исчезают снежинки не тающих слов
и уходит на север дорога.
Постепенно останутся позади
люди, лодки, грибы и березы.
Будет дом мой стоять, как корабль на мели.
Чистый лист на столе, листопад на дворе,
вдох и выдох стиха на морозе.*

*Там мне нечего больше ни ждать, ни жалеть,
никого, ничего. Только ветер
бормочать будет необъяснимо.
Так останется остров в лесах – материк.
Там я сплю чудным сном у слияния рек,
и мне снится далекий закатный восток
и сентябрь с легким привкусом дыма.*

Ирина Машинская

МЕТР И РИТМ ДНЯ И НОЧИ

О книге Филиппа Ливайна «Что такое работа»

Филипп Ливайн – один из самых сильных поэтов своего поколения, ученик Джона Берримана и Роберта Лоуэлла, родился в 1928 году в Детройте, в семье еврейских эмигрантов из России, и с четырнадцати лет работал на заводах Форда. Детство на индустриальном Среднем Западе определило темы и характерное освещение в его поэзии – тон его стихов достаточно темен; эмоционален, но внешне сдержан, эмпатически стоичен. Один из критиков, Пол Грей, назвал героев его текстов «партизанами в ловушке битвы после давно проигранной войны». Повествовательность стихов Ливайна некоторыми критиками его времени воспринималась как некая недостаточность. Однако, возможно, именно этот язык поражения, сдержанность – и в то же время ритмическая определенность нарратива, и делали их эмоционально эффективными (Роберт Пински говорил в этой связи о «силе живого синтаксиса» в его поэзии).

Ливайн был автором множества книг, выходивших главным образом в издательствах Atheneum, Knopf и Random House, лауреатом крупных американских поэтических премий. В 2006 году он был избран канцлером Академии американских поэтов; в 2011-м стал Поэтом-лауреатом США. Почти до самой смерти в 2015 году он преподавал в Калифорнийском университете.

В контексте статьи представляется важным, что поэт был очень музыкален, а его любовь к джазу нашла выражение в созданном им совместно с саксофонистом и композитором Бенджаменом Буном и несколькими известными джазистами цикле “The Poetry of Jazz” («Поэзия джаза») – диск был выпущен уже после смерти Ливайна, в 2018 году.

В чем разница между книгой и сборником, очевидная для автора, обычно настаивающего именно на «книге», и не всегда ясная для читателя, раскрывающего томик на произвольной странице (по крайней мере, такую возможность нельзя не учитывать)? Сборник вовсе не означает вороха разрозненных стихотворений: он может быть плотно сшит, в том числе сшит явно, тематически, – или неявно, например известными лишь автору событиями, каким-то временем его жизни. Поэтической же книге, как орлу и ветру, нет закона, нет правила или алгоритма, но в ней всегда есть невидимый стержень. Как все подспудное, глубинное, второе особенно интересно.

Книге Филиппа Ливайна¹, о которой речь, уже 30 лет, но мне захотелось вернуться и рассмотреть внимательнее ее скрытые скрепы, в частности те из них, что относятся к ритму, темпу и вообще к особенностям течения времени внутри ее текстов. То, что отдельные стихотворения в книге сразу предстают частями большого музыкального цикла и объединены отчетливой одинокой мелодией *истраченной* жизни, – это на поверхности. Под поверхностью – постоянство фокуса и работы со временем: каждый текст высвечивает, нащупывает и в конце концов выражает его структуру и текстуру, ритмическое соотношение света и теней, белого и черного (книга почти лишена цвета), сложную архитектуру молчания. Действие происходит на Среднем Западе, с его жестким континентальным климатом, в условном Мичигане, в конкретных Детройте и Флинте (сегодня печально знаменитом своей экологической катастрофой), на территории заводов: «Форд», «Шевроле» – и пространствах вокруг.

Вещества и их текстуры, соотношения света и тьмы, объемов и протяженностей и, разумеется, характер течения времени, как они даны в остранных, на вид описательных текстах, выражены в синтаксисе не менее, чем в словаре, – именно этот способ высказывания превращает *метр* обстоятельств (своего рода модель, то есть гипотезу о жизни) в *ритм* (то есть единственное положение вещей).

Как это свойственно музыкальным произведениям, книга прошита повторяющимися мотивами: *погружения* и *восхождения*, *засыпания* (и *сна* вообще) и *пробуждения*, *нахождения внутри* и *снаружи*, а также постоянно появляющейся *матери*, *вещества*: воды, еды, одежды, металла, кислот, дыма. Эти мотивы и являются языком книги, на котором рассказаны ее короткие истории. Главную работу по оформлению этой реальности берет на себя время.

Оно «движется», то есть происходит по-разному для находящегося внутри и вне работы того полуавтоматического или автоматического типа, который описан в книге, не обязательно конвейера, но всегда *отмеренного* внешней силой (например, обществом) отрезка жизни. Человек такого рода труда не может позволить себе не замечать грубого метрического измерения времени. Он точно знает «сколько там дня, сколько ночи» («Каждый благословенный день») и сколько осталось минут до обеденного перерыва («Приближаясь»). Свет, тьма, даже птицы, которых в книге немного, – не вещи и не их идеи, а сигналы: ко сну, к еде, к труду; это скобки, в которые помещены смены и пересменки, перерывы и перекуры, периоды наполнения и

¹ Philip Levine. What Work Is: Poems (Alfred A. Knopf, 1991).

периоды опустошения огромных парковок. Время, выраженное в ритме неаффектированной, сдержанной речи, работает как аккордеон: сгущается в сигаретный дым короткого перекура, редеет и испаряется в перерыв обеденный, останавливается на часах школьного класса («Урок искусства и науки мисс Дега в средней школе Дюрфе» и «Среди детей»).

В книге много дождя и очень много ожидания. Люди все время чего-то ждут: автобуса, подвозящего их к началу смены, своей очереди к окошку подневного найма, перехода через замерзшую реку, лифта в шахту – и все это для того, чтобы быть запаянными в капсуле той немоты, в которой время растягивается и вообще лишается какой-либо меры, с того самого момента, когда пробивается рабочая карточка. Дети запаиваются в классы, обучаясь науке погружения, науке добровольной отдачи своей свободы. Рабочие запаяны в раннем автобусе с непрозрачными мерзлыми окнами, вода – подо льдом реки, лица – в тоске («голоде») по иной, неопределенной, уже потерянной жизни.

*Это все ожиданье, переминанье
с ноги на ногу, дождь, просачивающийся, как туман
в волосы, размазывающий очертанья
предметов, пока не почудится, что вон
там, в очереди – твой же собственный брат
впереди человек на примерно десять <...>¹*

(«Что такое работа»)

Нисхождение и восхождение, сон и пробуждение – еще два постоянных ритмических мотива. Нисхождение означает потерю воли, а с нею и собственного облика, но именно эта анонимность делает человека видимым для других. На другом конце отрезка – подъем туда, где тебя никто не встречает. Надевание собственных носков, собственной рубашки, навинчивание на палец обручального кольца. Английский язык требует в таких случаях либо определенного артикля (*вот это кольцо, вот эти носки*), либо притяжательного местоимения (*мое кольцо, мои носки*), но слово «мой», настойчиво отстукивающее в этом стихотворении, не так заметное для английского уха, как для русского, диктуется чем-то большим, нежели грамматика.

Сон и пробуждение равносильны нахождению *внутри и вне* (себя). «Каждый благословенный день» начинается с грубого пробуждения, дрожи человеческого *существования*, единственного и

¹ Все цитаты из книги «Что такое работа» даны в переводе автора статьи.

уязвимого. Индустриальное *вещество*, пронизывающее книгу, инструменты, металлы, кислоты, «молочные моря/ индустриальной пены», горчащая вода в кране, с привкусом железа, – элементы нового ландшафта, суррогатной природы, в отличие от природы настоящей не объемлющей, а растворяющей человека. Мир книги Ливайна и есть мир холодной воды и холодного металла, и даже детские руки пахнут чугуном. Еда – не более чем длящийся существование материал: крошево мусора для птиц и сэндвич рабочего, конвейер раздробленной материи и расщепленного времени. По-английски это еще очевиднее: «feeding a machine».

Одно из характерных стихотворений – «Каждый благословенный день». В не разделенном на строфы сплошном тексте из 3-4-стопных строк дано утро фабричного рабочего. День и стихотворение начинаются одновременно, со стакана холодной воды, и слово *glass* («стакан» и «стекло») отражает слово *blessed* («благословенный», «божий»). В неподвижной блеклой прозрачности холодные отражения слов и строк. Чирикание (*cheer*): птицы ищут крошки на снегу. *Cheer* – одинокое, голое, скудное слово и напоминает *cheer* («бедный»).

*Он слышит «чи» знакомых зимних птиц,
сканирующих снег
за крошки мусора,
он точно знает, сколько
там ночи, сколько дня
покуда не скользнет
бессильный свет
в зазор меж корпусами. <...>*

Темное еще стекло готовится к «бессильному» рассвету, просачивающемуся в щели между зданиями (как человеческие фигуры, жизни). Закрывая за собой дверь, герой представляет фигуру отца, никогда не виденный им родовой ландшафт, «великую пустыню» (мексиканскую, возможно), на несколько строк появляются яркие цвета, их оттенки и тени.

*Он закрывает дверь и видит
места, что он не видел никогда,
а только знал о них: великая пустыня,
говорил отец, была огромней
любого из морей, что переплыл,
и как она хранила на закате
все краски, все оттенки синевы
и алости*

*в своих сходящихся, густеющих тенях,
и хоть и жизнь его тогда была тюрьмой,
он как-то научился
жить ради этих длящихся минут. <...>*

Мелодия, ее темп и окраска, из аскетической и одинокой становится меланхолически-сладкой и теплой. Это вторая, медленная часть. А потом мираж растворяется, ритм становится метрически монотонным, холодным: полностью раскрывшееся зимнее утро, ожидание автобуса «в семи милях от узкой замерзшей реки», маршрут, знакомые лица – кто туда, кто уже оттуда. Хруст пробитой автоматом минуты.

*Он сходит
на знакомой остановке, пересекает
одну за одной пустеющие парковки,
идет к корпусу ШЕВРОЛЕ МОСТЫ И ПЕРЕДАЧИ №3.
Через несколько минут он приподнимет карточку
над циферблатом –
опустит – мгновение треснет,
а нет – не все ль равно, хоть так хоть эдак,
день будет длиться вечно.*

Финал неожиданно ритмически оживлен: чирканьем спичек, смешками и пересекающимся говором, и в конце концов дробность становится слитностью, механический метр схемы (даже и схемы авторского замысла, который нетрудно предположить) – живым синтаксисом речи, перетекания ее между людьми; совершается – и переходит в другие стихи книги – синтез дробного мертвого в ритмическое живое.

Марина Гарбер

**«ЧТОБЫ ЛЮДИ МИРА ПОМНИЛИ – ЭТО МЫ ЛЕЖИМ ВО
РВАХ»**

Размышления над книгой Александра Кабанова «Исходник»

После Бучи, Мариуполя, Изюма невозможно писать стихи, потому что, как пишет киевлянин Александр Кабанов в новой поэтической книге «Исходник»¹, «все то, что может быть стихами, / из света – брошено во мрак». Логично допустить, что Теодор Адорно, будь он нашим современником, снова назвал бы стихописание варварством и снова оказался бы прав. При этом предназначение поэта не изменилось: преодоление невозможного и проговаривание непрогнозируемого – миссия, грозящая ему оглушительным ответным молчанием или зачислением в варвары. Стихописание, то есть процесс организации мысли и объединения слов в строчки, так или иначе подразумевающий некоторую механистичность и обязывающий к задействованию так называемых технических «трюков», а также естественное, но зачастую обреченное на провал подспудное стремление к «врачеванию духа» словом, приводит к непреднамеренному упрощению произошедшего и, возможно, к постепенному смирению с ним. Ведь любая попытка осмысления смерти, прежде всего, свидетельствует о продолжении жизни, – и есть в этом толка жестокости и даже кошмарности. Художественное упорядочение языка – самим наличием такого порядка и необходимостью в последнем – невольно предает и искажает сущность и дух трагедии, снова и снова вынуждая слово оступаться, оговариваться, порой срывать и, в общем-то, никогда в точности не соответствовать бедствию, которое поэзия пытается постигнуть или хотя бы запечатлеть. Любая выбранная интонация оказывается несоразмерна крику, плачу, скрежету, вою или безмолвию – единственно верным изнутри трагедии нотам, – а поэт всегда пишет изнутри, где бы ни находился физически. Кабанов пишет (или молчит) изнутри ситуации, применительно к которой можно перефразировать другое известное высказывание: боль изреченная есть ложь.

*Что ты раньше слышал: плач ребенка,
ближний взрыв, предсмертный хрип врага,*

¹ Александр Кабанов. Исходник. – Израиль: Издательство «Книга Сефер» (Проект «Вольное Книгопечатание»), 2022. Допечатано: Київ: ФОП Ретівов Тетяна, 2022. – (Серія «Сучасна література / Поезія, проза, публіцистика»).

*лопнула ушная перепонка –
кровью затопило берега.*

*А теперь ты слышишь те же звуки,
тот же злой и беспощадный свет –
далеко, как будто вы в разлуке –
навсегда, на миллионы лет.*

Стихи, оказалось, невозможно писать по-старому: «О, кровь-любовь-морковь-коня и тишины цветной подстрочник: / чем больше эхо от меня – тем меньше ссылок на источник». Во время войны поэзия смещается на дальнюю периферию жизни, так как в центре последней оказывается боль такой интенсивности, что любой художественный опыт, включая поэтический, оборачивается попыткой совладать с трагедией, которая слишком человечна, чтобы стать искусством. Логично предположить, что о Буче и Мариуполе допустимо писать на временном расстоянии, так как дистанция – одно из необходимых условий для полновесного постижения произошедшего. Вероятно, поэтому сегодня Кабанов обращается к своему читателю не из своего настоящего, а из нашего прошлого: большая часть стихотворений книги «Исходник» написана до 24 февраля 2022 года. Однако прочитать эти стихи следует именно нам, здесь и сейчас, поскольку: «Столетия лагерный скелет, / вороны – чопорный каркас, / и то, что пишется сейчас, – / послание на этот свет». Поэт всегда живет в предельной точке бытия, точнее, он активно *не* живет в этом сжатом и обжитом каждой клеткой его естества душном пространстве, поскольку форма его существования в слове, по сути, является беспощадной изнанкой жизни или, еще точнее, *не жизнью*, если, конечно, под «жизнью» подразумевать то, что подразумевает *активно живущий*. Поэзия во время войны жестока и кощунственна, ибо безжалостна действительность, беспощадна жизнь, убийственна воля к ней, буквально по Шопенгауэру, предающая себя самое. Невозможно писать стихи после Бучи, как невыносимо продолжать жить по-старому после нее, а каждое стихотворение – всего лишь попытка осилить невозможное:

*Лето в буче и в гостомеле,
зреют звуки на словах,
чтобы люди мира помнили –
это мы лежим во рвах,
до сих пор еще не найдены –
вот нога, а вот рука –
дети гришины и надины,
безымянные пока.*

Стихи, оказалось, невозможно читать по-старому. Тем более, стихи, написанные по-русски. Реальность снова с изощренной убедительностью подтвердила бессилие поэтического письма перед беспримесным злом, ведь, по большому счету, поэзия, равно как и другие составные «республики искусств», ничего не предотвратила, никого не остановила и никого не спасла:

*Земля шевелится, и, превращаясь в квест,
выходит дядя яша с черной скрипкой,
и тишина, как духовой оркестр,
из ямы поднимается с улыбкой.*

*Все зубы золотые, все шары,
все тапочки балетные от спама,
все пастернаки вышли из игры,
и всех убили, даже мандельштама.*

Русская поэзия не достигла читателя, как в свое время немецкая пролетела мимо цели, потому что стена между передатчиком и приемником, или же «бескрайний до беспамятства» ров, пролегший между отправителем и получателем, оказались преградами, не преодолимыми ни одним из существующих культурно-эстетических средств:

*Идет стена, людей приоткрывая,
она не плачет и встает в нас,
лишь тишины – граната шумовая,
и счастья – слезоточивый газ.*

Здесь, пожалуй, самое время повторить очевидное: поэзия – не терапевтические упражнения, стихи – не назидания, а поэт – не производитель рецептов счастья. Парадокс поэзии состоит в том, что нет ничего иллюзорнее ее эгоцентризма, поскольку поэзия альтруистична в том смысле, что поэт никогда не говорит о себе, даже когда говорит о себе («и всякий – устрашись, когда я снова буду – / единственным собой, единственным тобой»), а всегда – о другом, ближнем и дальнем, обращаясь к каждому в отдельности, никого не обобщая, не затушевывая в толпе:

*Я откроюсь скифу и ролею,
греку, отходящему ко сну:
только я притягивать умею
за уши ночную тишину.*

*Для чего умение такое:
для того чтоб ты, не по злобе,
вдруг услышал новое, иное,
так необходимое тебе.*

И в «минуты роковые» поэзия продолжает рассказывать человеку о нем самом, не задаваясь целью формирования в нем того «морального минимума», на котором традиционно настаивают религия и классическое искусство. Она обращается ко всякому и, при этом, всегда к конкретному – и к оглушенному болью, и к захлебнувшемуся отчаянием, и к пораженному страхом, и даже к духовно захлопнутому человеку, при этом четко осознавая величину риска остаться неслышанной. Стихи Кабанова – в том числе и об этом:

*Сколько угодно времени для печали,
старых журналов в стиле «дрочи – не дрочи»,
вот и молчание – версия для печати,
дорогие мои москвичи.*

Как известно, в своих размышлениях Адорно идет дальше, утверждая, что любой причастный к культуре агрессора становится вольным-невольным соучастником преступления против жизни («виновны все, но только мне прощения / за вас за всех – не будет никогда», – вторит ему поэт), в то время как тот, кто жаждет ее запрета, оказывается попросту вандалом. Отталкиваясь от Канта, Адорно говорит о необходимости установления «нового категорического императива», утверждая, что не подавление духовного невежества, а высокомерное пренебрежение им приводит к краху культуры, цивилизации и, в конце концов, жизни вообще, поскольку, прежде всего, знаменует фиаско нравственности. Осознание своего поражения и есть тот «новый императив» поэзии, на котором настаивает Адорно. Однако, как ни парадоксально, такое осознание, требующее сначала внутренней, а затем внешней реакции (читай: конкретного действия), обязывает поэта писать – изнутри катастрофы. Парадоксально то, что его «варварский» труд оказывается протестом против варварства, лучшим – а для поэта единственно доступным – орудием противостояния ему:

*В одном флаконе гений и посредственность,
вы все с мечом пришли в мою страну,
и ваша коллективная ответственность
впадает в коллективную вину.*

*Живых костей и мяса наворочено
и ночью захоронено во рву,
россии – нет, она давно просрочена,
она сгнила – во сне и наяву.*

*Под ней – совокупаются опарыши,
над ней – гудят архангелы дерьма,
и только белорусские таварышы
испытывают радость без ума.*

*И этот ров, бескрайний до беспамятства,
по нем плывут столетия в мешках,
а между нами – только знак неравенства,
гадание на крови и кишках.*

Исходник – слово многосоставное (не случайно на обложке книги оно прервано дефисом, разбивающим его на два: исход-ник) и многозначное, как нередко у Кабанова. Безусловно, название книги подразумевает некий первоначальный источник, на основе которого создается нечто новое. Но о каком именно исходнике речь? О проживаемом украинцами библейском сюжете, об обреченном на перерождение языке или же о поэзии как о закодированном источнике божественного обращения?.. На компьютерном жаргоне «исходник» означает исходный код (текст), содержащий входные данные для последующей трансляции. Кабанов нередко ассоциирует себя и свои стихи собственно с таким транзиттером, носителем отправного сообщения: «и я – несущая конструкция – / я многих на себе несу»; «эти стихи – / логин и пароль к сотворению мира»; «и все сохраняется в облаке слова / и в папке чистилище.док»... Однако по мере чтения книги намечается важная, бегло упомянутая выше параллель не менее символического толка: «Исходник» вызывает ассоциации с «Книгой Исхода», описывающей исход евреев из Египта и последующего длительного и трудоемкого процесса освобождения из рабства, сначала физического, а затем духовного, проще говоря, процесса избавления от менталитета раба (неслучайно, последнее – одно из самых частых слов у Кабанова). Разумеется, «Исходник» отражает символизм событий, а не их историзм, ведь для поэта мифологизация народного опыта и памяти важнее буквализма, однако четко обозначенные в книге топонимические детали обозначают конкретный и уникальный исторический контекст Украины, защищающейся от сначала частичного, а затем полномасштабного российского вторжения: «В село повадилась чума, / за ней – зима, война – кто больше, / и не сошедшие с ума / отправились батрачить в польшу»; «Мы плывем за одиссеем / девяносто

дней войны»... «Книга Исхода», как известно, разделена на три части: первая повествует об освобождении еврейского народа из рабства, вторая – об истории его движения к своим корням, в то время как третья – о последующем духовном обновлении, без которого свобода (пусть всегда относительная) попросту невозможна. «Исходник» Кабанова, похоже, отражает первый этап этого длительного, напряженного и все-таки жизнеутверждающего трехчастного процесса. Таким образом, в основу композиции и концепции «Исходника» положено предвосхищение событий (прошу прощения за выпренность этого словосочетания, ведь, снова согласно Адорно, «после Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование») – предвосхищение как результат активного вслушивания:

*Ты помнишь картину – грачи прилетели
в советском учебнике для папуасов,
я помню картину – грачи улетели,
грачи улетели, и умер саврасов.*

*Я помню омелу и ветки в омеле,
нет-нет, это – гнезда висят без страховки,
был выстрел, и сразу – грачи улетели,
а после – остались служить в третьяковке.*

*Хороший учебник – для старшего класса
херсонской, без громкого имени, школы,
весеннее небо, как мел для левкаса,
и первый глоток (из горла) пепси-колы.*

*Политинформация: нашим виднее,
куда направлять прогрессивные массы,
опять обострение в новой гвинее,
грачи прилетели, а там – папуасы.*

*А впрочем, стояла погода весенья –
в канун сотворения, в самом начале,
не зря эта церковь была – воскресенья:
где нас – отпевали, а после – венчали.*

*Когда я проснусь в обескровленном теле,
исполненный всех примиряющей силы,
и ты мне напомнишь: грачи прилетели,
а мы их – не звали, а нас – не спросили.*

*Тогда я надену косуху-шиповку
и вам намалюю другую картину:
грачи возвратились в свою третьяковку –
оставив в покое мою Украину.*

Во времена дерзкой подмены бесспорного зла фиктивным добром у многих меняется «оптика на множество вещей», но поэт нередко пишет на опережение, тем более такой поэт, как Кабанов. Обостренное восприятие действительности само подводит его к интуитивным предчувствиям и осозанным выводам, а пророчества – лишь побочный, если не сказать случайный, продукт его труда. Его поэзия в целом представляется, грубо говоря, двойником жизни – не имитатором, а слегка забегающим вперед зеркальным соглядатаем. Речь, разумеется, не о фактическом, а об индуктивном и одновременно интуитивном отображении опыта, пусть еще полностью не усвоенного, но прошедшего первую и, заметим, самую эмоционально изнурительную попытку усвоения. Посему так примечательно двоение отдельных кабановских образов, за которыми просматривается не двойственность позиции (позиция Кабанова как раз всегда предельно ясна), не двоякость положения (понимаю неуместность этого словосочетания в разговоре о стихах), а двоящийся семантический отблеск реальности. Повторы, фонетические эха, бинарность речевых фигур и композиционная диалогичность многих текстов Кабанова не создают ощущения ни промежуточности, ни состояния подвешенности в воздухе. Может показаться, будто речь идет о двоении как о способе противления инерции в поиске равновесия, но это лишь поверхностное и ложное впечатление, ибо совершенно очевидно, что эта дорога – из тупиковых, поскольку согласно автору, «непобедимо зло» – знак равенства – «непобедимо добро», а вечное колебание весов – лишь моментарно достижимый «баланс, баланс». Диады Кабанова не возникают из стремления к гармонии, напротив, воистину по-пифагорейски, они фиксируют дисгармонию. Отсюда – частые внутренние рифмы и разнородная парность в стихотворениях Кабанова: сирена/сирень, мечты/мачты, ницца/винница, ижица/лужица, раб/ребе, подлец/подлинник, голубизна/голуби и другие подсказанные зрением и слухом звенья. Примечательно и то, что эпитет «двойной» идеально рифмуется с «войной», как и то, что оба слова и от них производные присутствуют в книге Кабанова сорок четыре зеркальных раза:

*От полозьев – вьется след двойной,
взят смоленск и позабыта луга,*

*что там в детском садике с войной,
не устали убивать друг друга?*

Мир в «Исходнике» зачастую предстает сложенным по вертикали листом бумаги: «Снаружи – алебастрового цвета, / внутри – глазурь и голубой акрил»; «коты и собаки – по левую руку, / по правую руку – христос», «по левую руку – ночной авиатор, / по правую – сын и отец»; «Почему впереди – ни огня, ни просвета, / будто свернута жизнь в бигуди, / слева – ясно, и справа понятно, что лето, / чую задницей, кто позади». Есть в книге и редкое упоминание монады – духовной единицы бытия (снова по Пифагору), переданной в образе единого неба, в свою очередь свидетельствующего об относительной общности поднебесного пространства: «словно черный диск виниловый – сингл неба и земли». Неслучайно речь поэта время от времени напоминает обреченную на повторы вертикальную речь поэтического: «Первый, первый, прием, это – шестой, шестой»...

Заметим, что двойственность не только создает базу для сравнительного анализа (это как раз самое легкое), но, прежде всего, подчеркивает конфликт, а также неминуемый болевой разрыв того, что однажды казалось нерасторжимым. Поэтому если говорить о языке, то кабановские повторы и эха – не редупликация, не *со-*, а *от-*звучия; его искаженные лингвистические пересмешники способствуют разрушению исходника, оборачиваясь прямым посягательством на него. Речевая единица в стихотворениях Кабанова нередко сталкивается со своим двойником, чтобы тут же, следуя законам естества, отпрянуть и оттолкнуться. Посему двойственность у Кабанова знаменует не союз, а отказ от альтернативных возможностей. Таким образом, излюбленный кабановский повтор становится не менее ценным антиповтором, как, например, в приведенном прописью и – на манер эпитафии – предваряющем основной корпус текстов тезисном стихотворении, давшем название книге:

*Я – сон, который снится вам в стране, войною опалимой:
ясон, идущий по волнам июньской шерсти тополиной,
сквозь веки, сквозь года и дни, в кустах компьютерного кода –
мы наблюдаем две родни, две ненависти, два исхода.*

*Один исход – отец и мать, окно в саду, песок и сода,
и я могу его назвать – исходом моего народа,
под слезы от днепровских вод, под вой сирен внутриутробных,
и это будет все – исход моих людей, давно свободных.*

*Другой исход – побег, отъезд, брезгливость к собственному дому
и страх, что фараон отъест еще кусок рабу любому;
вы отправляетесь в запас – в израильское бологое,
и я не осуждаю вас, но ваш исход – совсем другое.*

*По саранче сбегает вошь, июнь лежит ногами к маю:
убью тебя, тогда – поймешь, убей меня – не понимаю,
я – сон сплошной, бессвязный крик и явь перед грядущей битвой,
с горы спустившийся старик – худой, сутулый и небритый,
я – милосердия редут, и весь – шипованная бутса
для тех, которые уйдут, и тех, которые вернутся.*

Подобно автору «Энеиды», автор «Исходника» говорит о двух реальных противостоящих друг другу демографических жребиях. Стихи Кабанова, помимо прочего, – художественно осмысленная косвенная констатация последствий политического выбора и социальных, культурных и политических событий, оказавшихся судьбоносными для Киева и Москвы... Само собой, история нередко предоставляет нам наиболее яркие примеры повтора. Можно вспомнить, как в свое время Рим устанавливал собственную модель укрепления державы посредством распространения гражданских привилегий среди населения силой завоеванных соседних территорий, предлагая своим колониям промежуточный статус «латинян» (нечто среднее между союзником и гражданином), что постепенно привело к децентрализации и ослаблению власти; или вспомнить, как взбунтовались получившие федеральный статус гунны, нанеся удар, от которого Рим так и не смог оправиться; или, как все вышеперечисленное, плюс экономический упадок, беспрецедентная коррупция, несостоятельность армии и, главное, деспотизм императоров, постепенно превративший римлян в безвольных обывателей, в конце концов обусловили окончательный крах империи... Сходство исторических событий и, в отдельных аспектах, их гомологическая зеркальность не приносит современнику облегчения, отнюдь, она усугубляет отчаяние, чувство ответственности и вины. Но она также позволяет нащупать условную связь между настоящим временем и невыученными уроками истории, или же невнимательно прочтенными дофевральскими стихотворениями Кабанова:

*Я – эхо от чудовищного гула,
нас ждет закат, коричневый, как йод,
и мальчик из соседнего аула
тебя ограбит, а меня убьет.*

...

*Они уничтожат мой собственный мир навсегда,
и даже войну у меня украдут вместе с богом,
я помню, матвей, что болбить и играть в города –
два разных предмета, я помню о павле безногом.*

...

*Я последним стоял у лотка: все украдено, кроме итога,
и у лучшего друга, витька, кто-то стырил последнего бога,
краснокнижные зубы цепи и смотри в заповедные дали,
там зигует шлагбаум в степи – тем, кто нашу дорогу украли.*

«Исходник», собственно, подразумевает некое движение вспять, обратный ход, позволяющий рассмотреть доселе не столь явные риторические приемы – как художественного письма, так и социально-политического языка. Вместо «врачевания духа» (по Баратынскому), подхода, теперь окончательно доказавшего свою несостоятельность, Александр Кабанов с присущими ему точностью и упорством выставляет себе и нам то, за что придется расплачиваться до последней буквы: облаченный в книжный переплет итоговый счет любви и жизни, – по сути, сухой остаток всего того, что безвозвратно, и того, что бесценно:

*Голод, разруха, смерть, страх, первородный грех –
непобедимы все, нет на них топора,
и только любовь – сосет, хакает грязь за всех,
но только она спасет, и только она – твой смех,
а вот теперь, мой милый, плакать пора, пора.*

Шамшад Абдуллаев

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ГЕРМАНА БРОХА

ТЕ, КТО

*Те, кто умывается холодным потом пытки, –
в спазмах истязания,
в огне геенны, –
вправе запеть;
и сделай они это,
возник бы двусмысленный язык, населенный
чудовищами
антонимов.*

*Но молчат: заткнул
кляп судьбы
разинутые глотки; молчат и теперь.
Ибо слова их – немые
для нас, густая икота уничтожения;
нам, кто вправе слушать,
судьба заткнула разинутые уши.*

*Таращимся друг на друга.
Наши глаза, их глаза
обманывают и обманываются,
и надеются обмануться
внешним человекоподобием.*

Прервется молчание – пропадем.

(Перевод Виктора Топорова)

Родился в начале ноября, весь венец, первого, в день, рассекший, как кнут, святых и уопших по обе стороны хлесткого бичевания. Взамен «молчания» сперва стоял ведь *голос*, который наверняка «прервется», будучи неслышимым, ас артикуляции, и тогда наступит конец всем тончайшим уверткам одинокого безбожия, надеющегося вновь обернуться дуновением воздуха, немслящим ничем, каким был некто извечно, давным-давно, за девять месяцев до плачущего ложесна, до бледной осени восемьдесят шестого года. Придется, однако, считаться с биографически ясной меткой на ис-

ходе девятнадцатого века, и вряд ли в ту пору представлялось, что «Смерть Вергилия» именно из этой младенческой люльки пробьется через шесть, примерно, десятилетий наружу лишь одной грандиозно-вязкой строкой. Но тут, в «Тех, кто», гул эпоса короче. Двадцать первый стих, скажем, как раз толкует и гудит о немой угрозе сказанного не-вслух (на самом деле молчание риска неизбежно соотрется другим, более опасным, невероятно тихим молчанием, а не репликой резкой речи); тебе покамест не уготована кара, но твои догадки все равно успели однажды принять (без наущения теней) слепую весть: гораздо лучше и нормальной не быть, чем проявиться и тем самым пропасть. Каждый несет, как считал Сен-Жон Перс, свой собственный пенал или, добавим, свой складчатый кокон (зачем такая деталь? *кляп* церемониальной рутины?). Кроме того, кто-то видит во сне, как его, хлипкого подростка, расстреливают ангелы бога спиной к стене, – потом, проснувшись, он думает, зря я зорек и зрим, и признается другу, Кокто, осталось недолго. О чем речь? Написан ли псалом Броха до аншлюса, когда поэт был одним из немногих, кто не спасся, оставшись всецело живым, – написан ли в изгнании? Ответа нет. К тому же текст «Те, кто» являет собой тех, кто уже не верит, что вокруг полно невидимых заступников. Подобное безверие продолжается дальше – сначала в эгофобии, в самоедстве, в самоистязании классических скорпионов, в депрессивном лиризме, перенятом ими (*теми, кто*) у веймарской истероидности, у окопно-серого экспрессионизма, затем оно вспыхивает в финале их физической боли, которая перед ними прежде могла очертиться только сновидческой близью или в худшем случае золотистым пеплом угасшего ореола над вещью – в двадцатые годы прошлого столетия либо в ранние тридцатые, когда им, интеллектуалам, еще никто не говорил в лицо, что они лишь впустую фантазируют и «ничего не понимают в происходящем», как сказал *вождь* Кнуту Гамсуну, когда тот пришел к *нему* просить за нетронутость свободной Норвегии. В принципе, *они* (палачи и жертвы) вскорости запоют, потому что уже узнали, что Покровителя нигде нет, и весь кайф витальных возможностей вмещается в песнь быстро, наглухо и долгта исчезнувшего счастливец без вчерашних мук неотступного тела, без тяжелейшей кожи: из небытия перейти в небытие – совершенно логично; это лучшее, что норовит с *ними* произойти (либо не произойти). В общем, *они* вправе запеть, но в *их* голошении откровенно не извивистый змеиный язык двух смыслов индоевропейской грамматики, а вещь, за которой ничего нет, кроме того факта, что за ней ничего нет. Летописец – как правило, в тех обстоятельствах, когда нелегко продлить и сгустить галлюцинаторную предметность плотной здешности в глазах какого-нибудь давно ушедшего существа, – переходит на сильные оценки в речевой интриге,

в которой акцентные эпитеты большей частью миметически подтверждают, что изображаемая драма показана исключительно снаружи. В таких сценах естественней всего вызывающе броско наметить великолепную внезапность стилистического обособления, не таящую, впрочем, свою надсадную прямолинейность, – «густую икоту уничтожения». В чем она, «густая», не приесться? В удушливом допросе с щепотью воска в ушах, в пассаистских гримасах внешнего человекоподобия, растраченных непоправимо в альпийском загробье после Штифтера и «бабьего лета»? В любом случае недра насилия хранят свою невостребованность, не потревоженные никем некоторое время. Творящая атмосфера оптического и документального опыта в своей исторической коллекции вроде бы крайне редко считает просто усердие усмирять типично секретным бедствием или признаком демиургического взросления некой автохтонной жестокости. Тем не менее – вот оно. Герман Брох в стихотворении «Те, кто» свидетельствует, что Суд, щадящий агнцев и бесприютных аутсайдеров, скорее всего, не состоится. Наоборот. Именно «людей без свойств» прямо сейчас настигло что-то тактильно-грубое, что велит ему, словеснику, рыскать в кулачно-мстительной атлетичности модернистского языка, не избегавшего никогда мутной прозрачности и непризрачности подробных моментов физиологической дрожи, – допустим, в «Смерти Вергилия»: быдло Бриндизи хрипло хулит и материт бледно-серого, безнадежно-большого певца пастбищ, сёл и вождей, лучшего римского поэта, которого постоянно преследует мысль о том, что слишком долго ему не удастся сгнуть насовсем. В общем, австрийский автор (не в романе, а в миниатюрной поэме, в небольшой параболе палачества) позволяет читателю вообразить вереницу мучеников – от низкорослого, слегка монголоидного канцлера в июле тридцать четвертого до самого себя в марте тридцать восьмого года. Нужно пинок и хук чугунной десницей метнуть в челюсть для пробы в прологе; под занавес придется остов смазать в ошметки; недомерок Энгельберт Дольфус не сдался, сказал про себя, под сурдинку, в середине лета один из белокурых псиных ангелов Тысячелетнего царства, и волосы его «веют дыханьем чумы на ветру» (Карл Кролов). Палач и жертва; желчность обиды; нарочитый бас пагубного самообладания; тарашится пот, чьи капли напрасно собираются в ножны, – скуластая мгновенность лезвия точней пристальной паники попадает в мясистый рык. Бьют его, броховского двойника, по мозгам, по черепу, не изощряясь, – элементарность и алифбе умерщвления для новобранца агонии, но главная плата казнимого молчаливника ждет впереди: полностью не быть – ни пантеистической пыльцой, все же отбрасывающей подобие тени своей неупомянутасти, ни той бесплотностью, которую *неизвестность* одари-

ваает вдруг привилегией не рождаться. Стремительность происходящего делает четкой глазастую духоту влажной травмированности, открывшейся нам в изгибах изувеченной головы: мы видим какие-то глотки, рот, уши и вдобавок слышим – занозисто шебуршит язык, двусмысленный, как гюрза, скрытый, забаяканный губами истязуемого сына земли, который затаил мечту лишь о том, чтобы стерли его снова вдогон его же бесследности («хочу, сказал он, без души», Тадеуш Ружевич), и теперь не сыщешь окрест ни толчеи воскресших, ни кармических видений, ни тем более чудовищ антонимов. В этот момент скудный запал едкой сиюминутности захлебывается доверху в спазмах, в которых не смеешь выдавить и втихаря набухшую мизерность единственного слова, чтоб не учуять опасность далеких, паутинно-волоконистых аллюзий, аморфных, одиноких сцен, намекающих на переселение души, на грядущее странствие некой безбытийности в никуда, в лучшие миры. Но тут, в сиюсекундной настоящести, ты захлопнут в чужой запертости, отменяющей прочую волю и время, здесь ты всамделишен в давке непреходящей остановленности – в блеклоцветном обличе либо в наморднике, чей вид не угоден твоей дикой учтивости, все-таки принимающей за небожителей тех, кто тебе причиняет страдания. Губы; иссохшие, пурпурные губы сжались в отказе, пока палачи с пороховым привкусом у твоего правого виска требуют признаний (каких?), словно ротовое отверстие твоей височной выемки должно издать непременно стон, недопустимый для страсто-терпца. Мольбу не вынести ему, но прочный пробел в экстремальном бесчувствии, с которым позже предстоит срастись его трансу, еще подходит венскому златоусту. В этом тягучем участке сторожкой длительности не говорят, как водится, в первую очередь те, кто начисто и наперед иссяк, кто истощил до дна сызнова свою всеядную исчерпанность. В этой геенне огненной ты сам преподавал себе сугубо свой урок самоузурпации без учительствования, – в ней к тому же ты сам задал себе корм безлирной риторики (весь пафос которой сводится под пустыми небесами к тому, чтобы внушать вечному вчера, самой вредной, знающей всё и вся, средне-средней разновидности просвещенной мимикрии – короче, внушать нетленному послушанию живучей обыденности, что боги письма и устной речи мертвы, что нет кругом Утешителя, нет сверхъестественного слова, чье дерзновение, как минимум, лишило бы тебя невероятной, сверкающей радости самоуничтожения в любых местах явной наглядности, в ином мире, нигде, вблизи и вдали), которая, наверно, не хотела бы в тексте «Те, кто» забыть, что она ведь как раз и благовествует о крайней неслышимости безголосья, – особенно в тисках пытки. Сейчас едва ли дозволено даже выставить свое говорение напоказ произнесенным словом: своего

рода акме молниеносного молчания, которому не суждено прерваться. Но перед наказанием ты обеспечил в собственных глазах себе алиби – тихий надрыв, звучащий, как легкая, фриктивно-горличная насмешка, как шелестящее петляние сократовской иронии: «Расти, малыш, расти, пой и веди за собой других, будь вожаком во времени, предчувствуя вечность». Весна, 1937 год; английский фрагмент из пятистраничного «Возвращения Вергилия»; прочитан 17 марта по венскому радио вместо четвертой эклоги.

Владимир Гандельсман

ЧЕРЕДОВАНИЯ

ВЫЕМКИ И ВЫКЛАДКИ

* * *

Статья о Мандельштаме и Бродском – «Оси координат».

* * *

Есть религиозный и атеистический пути в искусстве. Им соответствуют: смирение и бунт. Смирение принимает тот язык, который есть. Религиозный человек принимает мир, сотворенный не им – Богом. Каков бы он ни был. Бунт создает свой язык. Никакого Бога. Всё делаем заново.

* * *

Если ты стучишься в дом, никогда не войдешь. Потому что там никого, кроме тебя, нет, а ты из-за стука не услышишь.

Два вывода:

1. В дверь стучаться – в дом не войти.
2. Войти в дом можно только открыв дверь.

* * *

Крохотный городок. Сельмаг. Церковь в основном на замке. Кладбище, на котором покоится много больше людей, чем живет вокруг. Матч выигран с большим перевесом.

* * *

Смущенное свидание с девушкой в фетовском «Зное» заканчивается строфой:

*И как будто истомою жадной
Нас весна на припеке прожгла,
Только в той вон аллее прохладной
Средь полудня вечерняя мгла...*

Из ничего сделано все. (Мгновенно вспоминается из Георгия Иванова: «Только в мутном пролете вокзала / мимолетняя люстра зажглась...»)

Вообще – существенность его концовок. Как в «Упреком, жалостью внушенным...»:

*О, я блажен среди страданий!
Как рад, себя и мир забыв,
Я подступающих рыданий
Горячий сдерживать прилив!*

И еще в пандан к словам «в той вон аллее» в другом стихотворении Фета:

*Ласточки пропали,
А вчера зарей
Всё грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.*

Это указание потом поддержит Набоков: «...запомнишь вон ласточку ту?»

Вечности указывают, где она должна быть: здесь и сейчас – над *той* горой и в *этой* ласточке.

* * *

Женщина после смерти любимого (и известного) мужа, лет через 20, в интервью: «Лишний кусок жизни остался».

* * *

Ноев ковчег – больной зуб.

* * *

Бывает, моешь посуду, а она не кончается.

* * *

Я думаю, простая гениальность Пушкина недоступна не только школьникам, но и неопытному взрослому читателю. Школьников мучают образами Татьяны, Ленского, рассказывают, что Онегин нехороший человек и т.д., а потом школьник становится тем самым «неопытным взрослым».

Говорить надо о самих стихах.

Объяснить, почему так прекрасна пушкинская речь, невозможно, но то и дело я предпринимаю рациональные попытки это сделать. Вот из «Онегина»:

И так они старели оба.
 И отворились наконец
 Перед супругом двери гроба,
 И новый он приял венец.
 Он умер в час перед обедом,
 Оплаканный своим соседом,
 Детьми и верною женой
 Чистосердечней, чем иной.
 Он был простой и добрый барин,
 И там, где прах его лежит,
 Надгробный памятник гласит:
 Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
 Господний раб и бригадир
 Под камнем сим вкушает мир.

Ясный покой, ровно длящийся. Какая-то целомудренная невозмутимость. Звук же не просто безукоризненный, нигде не выпирающий, но интуитивно мастерский.

Обратите внимание на третью строку от конца «Смиренный грешник, Дмитрий Ларин», на то, как этот «надгробный памятник» стоит на четырех «р». Не стоит, а покоится. То же происходит с третьей строкой от начала – «Перед супругом двери гроба» – те же четыре «р». Нет, это не сознательный прием, не умышленная игра в симметрию. Это гениальный слух, и это стихи, запоминающиеся с первого прочтения.

* * *

Особенная тоска в городах проездом.

Местные – как они живут? Туристу их жизнь представляется завершенной и даже конченной, поскольку расписана и разлинована в соответствии с жизнью их родни, с самим чертежом города, режимом учреждений и транспорта, тогда как у твоей нет здесь ничего предначертанного (судьбы). А что есть? Неизвестное и «чарующее» продолжение.

Та же ошибка восприятия у аборигена: турист – что за бессмыслица этот скушающий господин, учашенно заглядывающий в кафе, глазующий на витрины и зевающий на достопримечательности, или уже сытый и влачащийся ко сну?

Хорошо, если в таком восприятии преобладает жалость, а не презрение. Причина ошибки? Отсутствие энергии, рассредоточенность, желание во что бы то ни стало удержаться на поверхности заведенного порядка общения. Нецелостное, фрагментарное существование, небрежность «чтения». Беглый раб самого себя, никогда не обретающий свободы. Пусть не грех, но он несомненная погреш-

ность, которая есть залог прижизненной маленькой и добровольной смерти. «Заграница – маленькая смерть».

* * *

Концовка пастернаковского «Лета»:

*И это ли происки Мэри-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.*

В гениальных стихах звук опережает смысл, и опережает так, что смысл углубляется, не зная об этом.

Мандельштам услышал прежде всего звук, когда мимолетно, увидев в гостях книжку, прочитал эту концовку и воскликнул: «Гениальные стихи!» Он никак не мог знать тех смыслов, которые обнаружили потом исследователи. (Например, что Мэри – это Зина, жена Нейгауза, которая из пианистки превратилась почему-то в арфистку... Почему? Потому что надвигался ураган аравийский, шумящий арфой. Действительно, чем еще шуметь урагану?)

Как только Пастернак вышел из звука, так сразу все поблекло в строке «Бессмертья, быть может, последний залог».

Характерная черта Бориса Леонидовича в записи о поэме Маяковского «Человек» в исполнении автора: «Вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности». Мало просто вдохновенности, ему подавай тавтологичное усиление: приподнятую вдохновенность. Но он знал, что говорил.

* * *

У нее безвкусная фигура, но развитое обаяние.

* * *

Всю свою читательскую жизнь возвращаюсь к Фолкнеру. И всякий раз поражаюсь. Откуда ощущение, что это происходит в вечности? Оно возникает почти мгновенно, с первой страницы. Мифологичность человеческой жизни. Ее нетленное протяжение во времени. Как если бы речь шла о каких-то богах, хотя это самые простые люди.

Фолкнер переживает жизнь как что-то абсолютно значительное.

* * *

Борис Годунов после известия, что в Кракове появился самозванец, и разговора с Шуйским, в котором он хочет увериться, что Дмитрий был воистину убит (ему ли не знать?!), произносит монолог:

Ух, тяжело!.. дай дух переведу..
 Я чувствовал: вся кровь моя в лицо
 Мне кинулась – и тяжело опускалась..
 Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
 Все снилось убитое дитя!
 Да, да – вот что! теперь я понимаю.
 Но кто же он, мой грозный супостат?
 Кто на меня? Пустое имя, тень –
 Ужели тень сорвет с меня порфиру,
 Иль звук лишит детей моих наследства?
 Безумец я! чего ж я испугался?
 На призрак сей подуй – и нет его.
 Так решено: не окажу я страха, –
 Но презирать не должно ничего..
 Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

(Обращает ли внимание читатель на строки «вся кровь моя в лицо / мне кинулась — и тяжело опускалась...»?)

Этот монолог – одно из свидетельств того, как гениально Пушкин усвоил уроки Шекспира. Явление призрака, напоминающее явление Банко на пиру в «Макбете»... И весь строй монолога, и рифмованная концовка, как это бывает у Шекспира для выражения сильной эмоции.

Другой пример – сцена Самозванца и Марины Мнишек (чудесно, что в сцене дважды звучит ее фамилия в преображенном виде: «Не мнишь ли ты...», – сначала этот оборот употребляет Марина, а затем Самозванец). Марину интересует Самозванец только в том случае, если он истинный царевич Дмитрий и сын Ивана Грозного. Сколько драматических поворотов на трех страницах! Признание Самозванца, что он не Дмитрий, отчаяние Марины и ее угроза выдать его, затем резкий поворот Самозванца от любви к «Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?» И вновь надежда Марины на то, что трон будет у него, пусть он не истинный наследник престола...

Двойственная глубина сцены еще и в том, что Марина не может знать точно, кто он. А если он проверял ее любовь и хотел вызнаться, будет ли она любить в нем просто человека, а не Дмитрия?.. Нет, не будет.

Здесь Марина напоминает леди Макбет, для которой главное – захват мужем королевской власти.

Не знаю, указывал ли кто-нибудь на любопытный факт: «Макбет» писался между 1603 и 1606 годами, и это время – время действия в трагедии Пушкина, соответствующее историческим событиям.

* * *

О Гоголе написаны тома, и эта писанина никогда не кончится, потому что разгадать его невозможно. Я предлагаю краткую и романтическую разгадку. Причем не только Гоголя.

Она – в «Портрете», в сцене, когда художник Чартков, замороженный и напуганный живыми глазами, глядящими на него с портрета, засыпает, а затем трижды просыпается из одного страшного сна в другой, пока, наконец, не просыпается окончательно и не обнаруживает в портрете клад – сверток с 1000 червонных. Они ему снились в его вещем сне.

(В одном из тех снов, где время идет в обратном направлении – он видит во сне то, что ему еще предстоит увидеть наяву, – то есть энтропия, необратимое рассеяние энергии, уменьшается; однако события, уменьшающие энтропию, как было показано когда-то в мысленном эксперименте итальянского физика Макконе, не оставляют информационных следов, а значит, их невозможно изучать; добавлю от себя: сон таких следов не оставляет.)

Вот так миру снится Гоголь, пока мир с какого-то раза не просыпается окончательно и не обнаруживает, что это – литературное сокровище, свалившееся на него с неба. Энтропия благодаря такому сокровищу уменьшилась. Но мир, подобно Чарткову, пускается в дешевый разврат, наполняясь чичиковыми и прочими плюшкинами, и гибнет. Распад берет реванш.

В отличие от единичного случая Чарткова, случай так называемого мира – многократный: мир периодически воскресает, приходит в себя, затем ему снова снится Гоголь и т.д.

Разгадка в том, что ни Гоголя, ни мира на самом деле нет, поскольку нет окончательного пробуждения.

А вот и заключительное предложение «Портрета», когда после долгой речи сына художника на аукционе, из которой выясняется, что это портрет ростовщика из Коломны, дьявола, а не человека, что портрет по праву должен принадлежать ему, сыну художника, что отец просил перед смертью это дьявольское изображение уничтожить, – портрет исчезает: «И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин».

ИЗ ДНЕВНИКА МИЗАНТРОПА

* * *

Личная жизнь доводит до личной смерти.

* * *

Оден говорил, что верлибр – это игра в теннис без сетки. Предполагал ли он вариант игры не только без сетки, но и без мяча? Что есть, наконец, игры без зрителей?

* * *

Отсутствие таланта как прием. Можно сделать из этого отсутствия литературу. Изначально безграмотные стали писать неграмотно, делая вид, что это прием. Пустота как прием. Бесчувственность как прием. Культурность как прием.

* * *

Ты тот, кто чувствует себя лучше, когда выходит из храма, а не входит в него. То же и с храмом искусств.

* * *

Стоит подумать о наследии либерала и шестидесятника Анатолия Собчака: Ксюша и Путин.

* * *

Хочешь вызвать к себе ненависть человека – благодетельствуй его.

* * *

Чувство собственной правоты – спасительный ход обделенных.

* * *

В интернете рядом со статьей «Благовещенье» горит реклама: «Как увеличить член на 10 см. Доказано!»

* * *

Страшно, когда взрослый человек прибавляет в росте.

* * *

Она ненавидела всех, кто любил не ее.

* * *

Режиссер завершил свое выступление на съезде кинематографистов словами: «Я счастлив и свободен, чего и вам желаю!» Так может сказать только глубоко несчастный человек. Разве счастливый станет объявлять миру о том, что он счастлив, а тем более говорить нечто, подразумевающая совсем другое. В данном случае: «Смотрите, меня ничего не берет, я неуязвим. Завидуйте мне, победителю». Завидовать нечему. Счастья у него нет, потому что он никогда не был первым и лучшим. Неистребимая боль, тяжелая зависть, злоба и ненависть. Он и выглядит как загримированный мертвец. С ляжкой лица.

Вот оно, это лицо, склоненное набок, и эти глаза, скошенные на лацкан своего пиджака, когда к нему прикрепляют орден.

Короче говоря, лицо человека предъявляет ему лицевой счет.

* * *

Когда о ком-то говорят в превосходной степени, чаще хотят не столько его возвысить, сколько принизить остальных. Все конкурсы и соревнования созданы именно для этого. Как можно быть организатором этого «бега в мешках»? Как можно быть членом жюри?

* * *

Культура – красивая жизнь смерти.

* * *

Финальная ремарка в пьесе: «Люди подходят друг к другу, выражают соболезнования и расходятся».

* * *

Талант в этой прозе есть, но больше – ничего. «Талантливость мне мерзостью постыла».

* * *

Человек, претендующий на некую значительность, но живущий в непрерывном страхе разоблачения, и потому – постоянно и стремительно меняющий направление жизни. Не только, допустим, направление разговора, но даже физического направления движения. Любая остановка стала бы разоблачением его никчемности. Замечает следы пустоты.

* * *

Бергман говорит о том, что муки совести – это кокетство, поскольку они ничего не меняют. Постдостоевский субъект. Мучающемуся совестью не может прийти в голову мысль о том, что он кокетничает. А вот то, что происходит с Бергманом, – это кокетство и есть. Без мук совести. Все оправдано великим фильмом. Кажется, он увлекался фашизмом?

* * *

Критик пишет: «Оглядываясь назад на советскую культуру...» Как будто можно оглядываться вперед!
В другом месте: «Не вступая в дискуссии, вот что меня поразило...»

* * *

Ненавидение (от «телевидения»).

* * *

Он всю жизнь врал, оттого подчеркнуто прямолинейно любил говорить правду в глаза. Правда эта была мелкой и нелицеприятной, поэтому служила самоутверждению за счет других и одновременно позволяла заблуждаться по поводу постоянной лжи в глубинных событиях своей жизни: ему начинало казаться, что лжи как будто и нет.

* * *

Самое страшное, когда человек хочет после себя что-то оставить. Один пульверизатор литературы сокрушенно воскликнул: «Мне уже сорок, я скоро умру...» А ты не оттягивай.

* * *

Мой друг меланхолично молвил по поводу спасшихся во время пандемии: «Так всегда было во время эпидемий, возьмите хоть чуму 542 года. Выжили только хоккейные вратари».

* * *

А. пишет неряшливые стихи, застегнутые на все пуговицы.
Б. пишет стихи, как будто развешивает белье.

* * *

Питерский приятель сказал: «Какая бездарная судьба – быть москвичом».

* * *

Заурядная доброта – разновидность равнодушия. Не зря говорят: раздобрел.
(Ходасевич: «А маленькую доброту, как шляпу, оставляй в прихожей...»)

* * *

Подсознание у всех одинаково, так что нечего делать из него искусство.

* * *

Если бы я не осветил Т. светом ее любви ко мне, она так бы и жила в медленном потускнении своих недоразвившихся начал.

* * *

Репортер из Москвы, затянутой дымом: «Люди выходят из дому только по большой нужде».

* * *

Во фразе из «Подростка» – «Улыбка была до того добрая, что, видимо, была преднамеренная» – весь Ф.М.Д.

* * *

В жизни интересно только начало.

* * *

Одно из самых чудовищных слов – vehicle. Что за нелепость и что за несоответствие тому, что оно означает!

* * *

Блистательность – признак слабости.

* * *

О детях необходимо забыть, чтобы облегчить их участь.

* * *

Людей к старости начинает пугать их забывчивость. По-моему, надо радоваться.

* * *

Хороший человек вызывает подозрение.

* * *

Прикосновение большинства писателей к восточным философиям и практикам немедленно превращает их в кучу дерьма.

* * *

Залог долгожительства – умение унижаться и быть морально подвижным.

* * *

Шекспировская комедия «Много шума из ничего» – «Much Ado About Nothing». «Nothing» в ту пору означало не только «ничего», но и женские гениталии. Так что перевести название пьесы надо бы так: «Пиздобольство».

* * *

Спящая со всеми красавица.

* * *

Игра на понижение (в прозе Л. и многих других) не имеет предела, поскольку нет предела человеческой низости. Это всегда игра провинциала (не по месту рождения, но по его духовному происхождению), словно бы рожденному не в любви, а в слякоти. Каждый его шаг – шаг в собственное ничтожество, признание в котором он считает страдательным подвигом. Чувство его превосходства над другими основано на подозрении, что любой другой точно такое же ничтожество, но он не имеет мужества грязного исповедания. На самом деле это мстительная зависть к тем, кто подобных склонностей не имеет.

* * *

Прочитал страниц десять книжки о романе «Евгений Онегин». Ни слова о стихах, всё о тайных сексуальных смыслах, недоступных читателю. Написано языком лакея, презирующего господ, которые судят о романе. Некто, затесавшийся в компанию Набокова, Лотмана и пр. и то и дело дергающий их за полы: «Вы, конечно, гении, не то слово, но вот ведь не заметили ни того, ни этого, ай-ай-ай, нехорошо-то как получилось!»

На кухне плюнул в тарелку с едой, а потом вынес посетителю: кушайте! Отошел за кулису, похохатывает в кулачок...

Заглянул на последнюю страницу, чтобы убедиться в том, что суть лакейская – пошлость. И мгновенно убедился. Отбросив фиглярский тон, автор в самом конце совершенно серьезно сообщает: «Страшно подумать, сколько миллиардов накрыла тьма, а гений сияет, не меркнет. Над непроницаемой мглой сияют только вершины».

* * *

Журналист говорил умные вещи. Но по тому, как он сидел, было ясно: идиот.

* * *

Я бы катапультировался. Но некуда. Всюду люди.

ПЕРЕВОДЫ



Уистен Хью Оден

МЫ ВСЁ ЕЩЕ ЗДЕСЬ

БЛЮЗ БЕЖЕНЦЕВ

Говорят, в этом городе живут миллионы душ.
Одни пьют из хрустальных кубков, другие – из грязных луж.
Но для нас здесь нет ничего, дорогая, пока еще – ничего.

Мы думали, это честно – что у нас есть своя страна,
Просто открой свой атлас, смотри сюда – вот она.
Но теперь она не для нас, дорогая, теперь она не для нас.

На погосте в старой деревне зимой умирает тис,
Но лишь наступает весна, он снова стремится ввысь.
Паспорта не умеют так, дорогая, наши старые паспорта.

Консул вдруг рассердился, ударил в стол кулаком:
«Без паспорта вы мертвы. Так говорит закон».
Но мы всё еще здесь, моя дорогая, мы с тобой еще здесь.

Ходил вчера в комитет, меня встретили у ворот,
Потом предложили стул и прийти еще через год.
А куда нам идти сейчас, дорогая, куда нам идти сейчас?

Был на общественном митинге, среди заводских коллег:
«Если мы впустим их, они отберут наш хлеб!»
Так говорили о нас, дорогая, они говорили о нас.

Показалось вдруг, что я вижу молнию, а за молнией слышу гром.
Раздается голосом Гитлера над Европой: «Мы их убьем».
О, конечно же мы среди «них», дорогая, конечно же мы среди них.

Я видел на перекрестке маленького скрипача,
Видел, как кошку пустили в дом из белого кирпича:
Евреи, моя дорогая, но не те, что покинули Рейх.

Я ходил в гавань неподалеку, поглядеть на речную гладь,
И сразу увидел рыб, будто и впрямь свободных:
До них было рукой подать, дорогая, до них было рукой подать.

Я прогуливался в лесу. В самой чаще, где наверху
Безо всякой политики пели птицы как на духу:
Совсем не такие как мы, дорогая, совсем не такие как мы.

Вчера мне приснился дом – дом на тысячи этажей,
С тысячами окон и тысячами дверей:
Ни одна не вела домой, дорогая, ни одна не вела домой.

Я стоял посреди равнины. На меня падал снег.
Вокруг маршем ходили люди, тысячи человек:
Искали меня и тебя, дорогая, искали меня и тебя.

КТО ЕСТЬ КТО

В грошовых судьбах это на виду:
Как бил его отец, как он бежал,
Как в юности претерпевал нужду
И как добился «всяческих похвал»;
Как он боролся с каждым новым днем,
Как покорял и называл моря,
И то, как критик заключит о нем,
Что от любви страдал, как ты и я.

А он бы все моря отдал за ту,
Что каждый день меняла целый свет
На скромный подвиг в маленьком саду
И изредка чирикала ответ
На письма грандиозные его,
Не сохранив себе ни одного.

БЛЮЗ У РИМСКОЙ СТЕНЫ

Мокрый ветер дует в лицо; поблизости – ни души.
У меня нос в соплях, а под туникой – вши.

С неба, будто на марше, капли чеканят в шлем;
Я охраняю Стену. Сам не знаю зачем.

Здесь лишь густой туман крадетсЯ ко мне с низин.
Моя девочка в Тангрии. Я по ночам один.

Слышал, Аулус постоянно ошиивается рядом с ней;
Вряд ли в мире есть кто-то, кого б я презирал сильней.

Пизо стал Христианином. Для него рыба – Бог.
Верит в рыбу и рыбе молится. Хорошо, что он не пророк.

Невеста дала мне кольцо, и я тут же его заложил.
Я просто хочу домой и деньги, что отслужил.

Вот сделаюсь ветераном, и в тот же день поутру
Сяду и стану смотреть на небо, пока не умру.

НЕИЗВЕСТНОМУ ГРАЖДАНИНУ

(Здесь лежит ИВ/07 М 13.7.20.

Монумент установлен

по распоряжению Государства)

Члены Бюро Статистики заявляют, что на него
Официальных жалоб не поступало. С тем же итогом, к Ним
Ответственно присоединяются все остальные Бюро:
В новом смысле старого слова, он был святым.
Он прожил свою жизнь во имя Нашей Великой Страны.

Он ни разу не был уволен, не пропустил ни дня
Работы на фабрике, кроме тех дней, когда шла Война;
Начальство во «Всякое Моторс» всегда было довольно им.

Его взгляды были умеренными, он и сам был безмерно мил;
Вдобавок из Профсоюза нам сообщили, что он платил
Все свои взносы вовремя – мы официально восхищены –
Тем более, что Социологи и Психологи всей Страны
Говорят, что его все любили, и он, без сомнения, всех любил.

В Прессе убеждены: он читал ее каждый день,
Читал целиком, с рекламой, не жалуясь на мигрень,
Что само собой при его Страховке. Из Полиса видно: он
Всего раз полежал в больнице и был полностью исцелен.

Оба наших Производителя и Хорошая-Жизнь-Дот-Ком
Говорят, что он искренне верил в Высший Кредитный План,
С радостью пользуясь тем, что предлагает нам
Прогресс: автомобилем, радио, холодильником.

Наши люди из Гласа Народа также приписывают ему
 Неизменное уважение к двум центральнойшим временам:
 В мирное время он был за мир. Во время войны он шел на войну.

При поддержке своей жены он экстенсифицировал население
 На пять человек, что как говорит Евгеника, в самый раз для его
 поколения.

Наши преподаватели отдают ему должное, что он не вмешивался
 в процесс обучения.

Был ли он счастлив? Свободен? – вопрос некорректен:
 Если бы что-то было не так, кто-нибудь бы заметил.

* * *

Вот я смотрю наверх, в звездного неба твердь,
 И я знаю, что этим звездам на жизнь мою и на смерть
 Глубоко наплевать, ну что ж, на Земле изо всех грехов
 Безразличие – это меньшее, на что человек готов.

А каково это было бы, если б одна звезда
 Полюбила меня горячо, безответно и навсегда?
 Нет, если нет равных чувств ни в небе, ни на земле,
 Пусть же я буду тем, кто полюбил сильней.

Оглядываясь назад и вглядываясь в себя:
 Мне раньше всегда казалось, что звезды – моя судьба,
 Но вот они загорелись – начало моих начал,
 И я не могу сказать, что по ком-то из них скучал.

И если звездный купол однажды погаснет весь,
 Мне кажется, я привыкну к виду пустых небес
 И, как следует разглядев их черный безбрежный лик,
 Думаю, я полюблю его, пусть и не в тот же миг.

Перевод с английского Андрея Ландау

Уильям Батлер Йейтс

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

ОСТРОВ ОЗЕРНЫЙ ИННИСФРИ

Я поднимусь и пойду к Иннисфри. Я пойду
Хижину там из плетня и из глины сложить,
Грядки вскопаю и пчел я себе заведу;
На поляне лесной буду жить.

Мир обрету, и опустится медленно мир
Прямо туда, где сверчок бренчит песню свою;
Ночи – мерцают, жарой там пропитаны дни,
Коноплянки взлетая поют.

Я поднимусь и идти буду до темноты,
Чтобы услышать плеск тихой озерной волны;
Здесь, среди улиц, среди городской суеты,
Он из сердца идет глубины.

СКРИПАЧ ИЗ ДУУНИ

Когда я играю в Дууни,
Там пляшет народ, как волна;
Кузен мой – монах в Килварне,
Брат – в Мохараби монах.

Кузен мой и брат все время
Читают молитву свою,
А я на скрипке играю,
На ярмарке в Слайго пою.

Когда мы умрем, Петр будет
Нас ждать у райских ворот
И всем троим улыбнется,
Но пустит меня вперед;

Ведь добрый – всегда веселый,
А веселому злым не стать;

Веселый и скрипку любит,
И любит потанцевать.

Когда меня там узнают,
Тогда закричит райский люд:
«Смотри, тут скрипач из Дууни!»
И все танцевать начнут.

ИЗ ЦИКЛА «НЕПОСТОЯНСТВО»

Полсотни лет я разменял...
В кофейне лондонской читал
Уединенно, за столом;
Передо мной – раскрытый том
И чашка на столе пустом.
Вдруг среди людей, стекла, зеркал
Я весь внезапно засиял
На четверть часа. Думал я
О том, что был почти что свят
И мог других благословлять.

Я РАСКАИВАЮСЬ В НЕСДЕРЖАННОЙ РЕЧИ

Я речи обращал к шутам,
Но к этим господам
Теперь я нем и глух.
Других найду, но не предам
Мой фанатичный дух.

Я лучшего хотел всегда,
Да эти господа
Уже с рожденья лгут.
А ложь не примет никогда
Мой фанатичный дух.

Ирландцы мы, а там, внутри
Нас, ненависть кипит.
И этому виной,
Что от рождения горит
Дух фанатичный мой.

ОН ГОРЮЕТ ИЗ-ЗА ПЕРЕМЭНЫ, КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА С НИМ И ЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОЙ, И ЖАЖДЕТ КОНЦА СВЕТА

Ты, безрогая белая лань, не слышишь мой зов?
 Я изменен был на пса с красным ухом одним;
 Я был на Тропе Камней, в Чаше Острых Шипов,
 Ненависть, и надежда, и похоть, и страх в мои
 Ноги вошли, чтоб и день и ночь за тобою мчать.
 С тростью ореховой странник без звука возник
 И изменил меня, и приказал бежать,
 И к погоне этой теперь я привык;
 А Время, Рождение и Перемены не ждуг...
 Без щетины Вепря-с-Запада я бы хотел
 Видеть, который солнце свергнет, звезды, луну
 И будет ворочаться, хрюкая там, в темноте.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

За кругом круг: все шире, шире, шире –
 Сокольника уже не слышит сокол;
 Не держит центр, ослабли, рвутся связи,
 И хаос в мире водворился сразу;
 Поток кровавый выпущен, повсюду
 В нем простодушие и наивность гибнут;
 Решимости добру не достает,
 А зло сорвалось с привязи, не медлит.

Открытие какое-то готово;
 Пришествие Второе нам готово.
 Пришествие Второе! Каменеет
 Язык и губы, зренье ужасает
 Огромный образ; где-нибудь в пустыне,
 Он, с телом льва и ликом человека,
 Глядит безжалостным, как солнце, взглядом,
 Передвигая медленные бедра,
 Среди теней зловещих – птиц пустыни.
 Тьма опускается; теперь я знаю,
 Что за кошмар из каменного сна
 Меня пугает скрипом колыбели,
 И что за зверь – чье время подоспело –
 Крадется к Вифлеему, чтоб родиться.

Дана Прескотт

В НАПРАВЛЕНИИ ДОМА

НА ЭТОМ ФОТО

Мы, твои четыре дочери, упершись локтями
в эбонитовый столик, смотрим как ты, мама,
загружаешь тесто в небольшую машину,
закрепленную на кухонном столе.

Ты улыбаешься индустриальной улыбкой,
это твой стол,
твои стулья,
твоя кухня.

Ты пропускаешь через машину
тонкий слой теста. И отец
тоже в кадре, спиной к объективу,
со стаканом в руке.

В УМБРИИ

Тоскую по маме

В моей пробуждающейся жизни
Бог говорил устами животных,
змея в вишневом саду,
собака, цыпленок, корова.

Черешня, созревшая до цвета граната,
сладкие шарики, окрасившие мои ладони,
черные окружности размером с монету,
я их вижу во сне.

Приходит осень, плющ и чертополох.
Раскальвается гранат, красные сферы
из зерен, проросших в губке,
венец каждого плода совершенен.

Терпи меня, когда я проснусь
в поту, плача – о чем? –

задыхаясь от страха.
 Подожди, холодный и темный, по ночам

крадущийся к моей комнате,
 большой черный кот печали,
 всей тяжестью ложащийся на мою грудь,
 перебирающий лапами, глядящий в мои глаза.

*

С приходом утра
 я открываю ставни навстречу пейзажу,
 заполняющему мою комнату.
 Умбрия, великая зеленая песня травяного неба.

Свет кровью сочится
 сквозь кроны олив.
 Белье на соседской веревке
 полощется белым.

Однажды октябрьским утром
 мы проезжали мимо гранитных карьеров,
 где иглы кипарисов протыкают небо
 вдоль старой дороги *Contessa*.

Останься со мной,
 думала я всю дорогу,
 мох, вцепившийся в камень,
 великолепный пейзаж,

но – вот он снова,
 густой туман,
 который я не могу рассеять,
 ты зовешь меня,

потом не замечаешь меня,
 твое отсутствие
 в зеленой крапиве
 и багряном винограднике.

РОДНОЙ ЯЗЫК

Тихая комната, укрытие от дождя,
 серая тяжесть за окном,

дует медленный ветер,
 я перебираю свою географию.
 Две идентичности, две жизни.
 Кто я такая, чтобы
 говорить на чужом языке?
 Погруженность или мимикрия?
 Теперь и не скажешь.
 Языки, поездки, паспорта и билеты –
 все обещало свободу, расстояние, приключение –
 но сейчас как много бы я дала,
 чтобы принадлежать чему-то,
 какому-то определенному месту.
 Это все не мое.
 Лишний вес, увядание, морщины.
 Привыкание и приобретение.
 Как много нужно, чтобы
 признать то, что осталось позади.
 Это – *rapture*, как сказали бы итальянцы,
 бесприютный туман меланхолии.

Ночь манит к себе,
 нависают черные облака.
 Ангелы в белых одеждах
 летают туда-сюда,
 через верхнюю долину Тибра в поисках меня.
 Я слышу звук их крыльев, похожий
 на звук рвущейся бумаги.

РИМСКИЙ ВОРОБЕЙ

Наверное, шел дождь.
 Скажи, что шел дождь, скажи,
 что я несла его,
 мою рыбку, моего оперившегося орла,
 от колыбели к окну,
 его головка тяжело опустилась
 на мою грудь, влажный жар поднимался
 из ложбинки на моей шее.
 Я трогаю его детские ножки, и еще,
 как дева Мария на картине Дуччо,
 я трогаю ножки своего младенца.
 Дождь льется из почерневшего неба.
 Дождь, жирные густые ручьи, как из крана,

как из множества водопроводных кранов,
 точнее, как из множества труб и садовых шлангов,
 из которых на улицу льются потоки воды.
 Зонтики, сломанные шквальным ветром,
 вращаются, как черные колеса.
 Так странно красиво, будто смотришь
 фильм-катастрофу, но (ты думаешь) ты в безопасности.
 Темный гром налетает
 на вымокшего воробья,
 оглушенный, он стучится клювом
 в зеркало припаркованной машины.
 Я представляю, каково лететь над дождем,
 забирая крыльями в направлении дома.
 Мама, ты слышишь меня,
 мой рот открыт дождю,
 ты сумела увидеть меня ночью,
 услышать дуновение моих костей?
 Меня ослепляет пространство
 твоего отсутствия.

ПЕРВАЯ РЫБА

Я чистила свою первую рыбу
 с помощью ржавой бритвы,
 крепко сжимая тело рыбы
 с незрячей головой, которая
 была обращена к небу.
 Я рассекла рыбу от ануса
 вдоль живота, затем

погрузила лезвие глубоко в ткани, до пузыря,
 провела лезвием по направлению к голове
 и скрутила рыбе голову.
 Когда она лопнула,
 я вытащила внутренности
 и швырнула их в воду.

Пурпурная тьма застилала мне глаза, но
 я полоскала расчлененный труп в соленой воде,
 зайдя в море так, что вода попала в мои ботинки,
 и я соскребала ногтями
 темнеющую кровь,
 застывшую вдоль позвоночника.

МОЛЛЮСКИ

Морской отлив на илистой отмели,
 мы откидываем зеленые и бурые водоросли,
 выискивая расщелины в каменных выступах,
 топая ногами, чтобы выдавить
 брызги морской воды, которые означают,
 что в этом месте – скопление моллюсков,
 зарывшихся во влажный песок.
 Их можно было извлечь граблями, но
 мы предпочитали лопату.
 Отец глубоко вгонял лопату, наступал
 на нее большим резиновым сапогом, налегая
 всем весом, разрезал кожу песчаной отмели,
 поддевая хлюпающий ил,
 извлекал зловонный комок черно-синего цвета,
 кишасший nereидами, обломками
 ракушек и иных *обитателей ила*.
 Они и сейчас перед моими глазами – моллюски,
 зарывающиеся в глубину в поисках убежища,
 прячущиеся, истекающие слюной,
 с мягкими, как воск, шеями,
 жирными туловищами, состоящими
 только из живота и мышцы. Раковины моллюсков
 такие хрупкие, что их можно раздавить пальцами.
 Мои руки горят от соленой воды ледяного моря,
 песок засыхает меж костяшками пальцев.
 Наступает прилив, вода прибывает слишком быстро,
 наполняя усталанный ракообразными водоем,
 в котором мы полощем свою добычу.
 Сумрак становится нами.

ЭЛЕГИЯ МАЛОЙ ГАВАНИ

Мы движемся медленнее
 облаков, простирающихся над головами,
 медленнее, чем лодки,
 парусники и паромы.
 Краем уха я слышу, как отец
 с важным видом открывает сыну
 поверхностное знание о морских перевозках.
 Это был твой мир, отец,
 грузовые суда и трансатлантические

переходы на край света
и обратно.
Океан говорит о потерях,
пока небо катится в море,
а море катится в небо.
Облачные берега
и струя за кормой.

Перевод с английского Людмилы Херсонской

Сандра Лилло

Я ПОТЕРЯЛА КЛЮЧИ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Я познакомилась с лирикой Сандры Лилло в Фейсбуке. Эту французскую поэтессу я никогда не видела. Но современные социальные сети позволяют найти удивительное и за тридцать земель. Благодаря знанию французского, который стал ведущим языком общения в моей семье, я имею возможность в оригинале читать французскую поэзию. Тексты Лилло, которые она часто публикует в Фейсбуке, оказались удивительно мне близки. Замечу, что у нее много читателей, которые выражают искреннее восхищение ее стихотворениями.

Мы принадлежим к одному поколению, поэтому многое в ее произведениях понятно мне и созвучно. Ее поэтика тоже очень близка мне. Это моя французская сестра в поэзии, как бы пафосно это ни прозвучало. Открытие нового поэта принесло мне большую радость, которой захотелось поделиться с русскими читателями. А созвучие моего имени и ее фамилии стало еще одним знаком, подтолкнувшим меня к переводу.

«Я хотела бы жить на краю синего диска среди людей облаков», – пишет Сандра Лилло. «Немного памяти и много вопросов». «Оставить позади себя все упавшие солнца». Ее мир парадоксален и в то же время гармоничен, полон ярких красок и точных деталей.

А вот что написала Сандра в ответ на просьбу прислать биографическую справку: «Я родилась в Нанте в 1973 году. Мне часто говорили: “Нельзя всю жизнь читать”, – и я начала писать. Я пишу стихи, потому что чувствую, что принадлежу этому месту. Это эмоциональное и физическое чувство, кратковременное ощущение, которое существует только в этом месте и только в это время».

Так мог написать о себе только настоящий лирик.

* * *

Мне нравится сомневаться
искать север и юг
в моей голове
отвечать
приподнимать завесу
скатерть

лист
 Изредка находить уверенность
 чаще беспорядок
 Подниматься на поверхность
 Интересно,
 есть ли почтовый ящик
 в раю
 Интересно,
 Чжоу-чжоу
 это вилка или паровоз
 я поднимаю голову
 Семь вечера
 Свет течет, как напиток
 из окна
 Час прошел
 может год
 я уже не помню
 но времена тяжелые

* * *

Я хотела бы лежать
 на ковре из ромашек
 смотреть на морозные лепестки неба
 Трава жалила бы меня в спину
 Все это происходит со мной
 Или нет
 А башни похожи на ноги слона
 под серым животом
 Я бы смотрела на радуги,
 пойманные в
 капли росы
 я бы сказала себе,
 что пахнет спичечным коробком
 а потом свет
 заставил бы меня броситься в небо
 с моими деревянными ногами
 и с моим насморком
 не зная, как найти небольшую работу
 оплаченную
 продавцом мечты
 или заклинателем змей
 я просто смотрю в темноту
 и на голубое небо

* * *

Я хотела бы жить на краю синего диска
среди людей облаков
Я сама была бы облаком
Я бы посылала ливни
На леса и горы
я бросала бы молнию на маленький мир
в котором будет расти крапива
и грязные животные
волосатые, которые будут знать так много вещей
и ничего не смогут сказать
но это будет видно в их глазах
немного памяти
и много вопросов

* * *

Звезды, как маленькие серебряные кудри
которые долго варились
когда я уйду
маленький ребенок
внутри меня
всегда будет ждать моего возвращения
планеты продолжают танцевать
свет выключен
все купается в темной материи
это похоже на космос
это выброшенная бутылка
в море

* * *

Вчера ночью была буря
Я немного испугалась,
но я хотела
слушать безумие
Казалось,
комната вот-вот отцепится
как осенний лист,
который жил
один сезон
Утро
как будто небо питало землю,
как воробей

большие капли воды
 Все было обычным
 еще немного солнца
 и вернется
 отсутствующий

* * *

Это май
 7 часов
 Я смотрю в кухонное окно
 будет дождь
 Я хотела бы видеть высокие деревья
 снятся ли им птицы
 и птицы улетают
 наблюдать за бегом белок
 похоже, что они собираются приземлиться
 в мусорное ведро неба
 Когда я открываю глаза
 башни все еще там
 окна предшествуют нашему молчанию
 когда начинает звучать музыка
 и выглядит так,
 как будто она родилась
 раньше нас
 один
 один два три
 нам нужен план,
 чтобы не умереть

АЛФАВИТ

география страны сверху
 и снизу
 геометрические фигуры
 столовая ложка рома
 смородина
 вчерашний хлеб
 я должна кормить
 огонь маленького животного
 в моей голове
 а потом я скажу тебе:
 я вернулась

и ты знаешь,
я утешена

* * *

Ветер дует слегка
и слышен звук волн
Когда мы закрываем глаза на пляже
кажется, все рождается вдалеке
крики чаек и детей
крики продавца мороженого
как будто продает клубничное счастье
или фисташковое
Когда я открываю глаза
я хочу пойти домой
оставить позади себя
все упавшие солнца
Вот моя далекая дверь
вернусь в маленький большой мир

* * *

Сегодня март
большая книга на столе
небольшая библиотека стихов
Клэр пишет на стене
Это не март
с его ветром
красная земля
которая не приносит новостей
сломанный компьютер
отсутствие кофе
отсутствие масла
это война и, возможно,
это конец мира
Это следующий мир
это длится 5 минут или 5 миллиардов лет
а потом я потеряла ключи

Перевод с французского Лилии Газизовой

Альфред Теннисон

ЗА КРАЙ ЗЕМЛИ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Вниманию читателей предлагаются новые переводы классика английской поэзии, поэта-лауреата Альфреда Теннисона, интерес к творчеству которого за последние годы в России неизмеримо возрос. Эти переводы сделаны специально для составляемой трехтомной «Антологии антологий. Поэты Великобритании». Порядок следования произведений (за исключением стихов из цикла «Памяти А.Г.Х.») определяется их рейтингами, полученными в результате обработки по специальной авторской методике одной тысячи шестисот восьмидесяти четырех оригинальных (составленных носителями языка и напечатанных в англоязычных странах) антологий и коллективных сборников английской¹ поэзии, отражающими консолидированное мнение одной тысячи двухсот девяносто трех антологистов – профессионалов в области поэзии – о любом сколько-нибудь заметном англоязычном стихотворном произведении, созданном за более чем восемь с половиной веков и увидевшем свет в формате книги, начиная с первой печатной (1557 год) антологии английской поэзии – Тоттеловской.

CROSSING THE BAR²

Закат – и свет звезды,
 Чей зов так сиротлив!
 И может, нет печальнее воды,
 Когда ступлю в отлив,

В поток, что еле движется, сонлив,
 Весь пена и покой,
 И все, что в бездне выхватил прилив,

¹ Понятие «английская поэзия» в данном случае объединяет британскую, шотландскую, ирландскую и уэльскую поэзии на английском языке.

² В заглавие стихотворения поэтом вложен двойной смысл: «пересечение отмели» и «переход в мир иной». Незадолго до смерти Теннисон велел своему правопреемнику, сыну Халлэму, печатать это стихотворение в конце всех изданий своей поэзии.

Таща домой.
 Вечерний полусвет,
 И после – тьмы приход!
 И может быть, в моем прощаньи нет
 Щемящих нот;

Пусть в мир иной, где вряд ли и найти,
 Стихия унесет,
 Надеюсь я, что там, в конце пути,
 Меня мой Кормчий ждет.

Рейтинг стихотворения – 149. Стихотворение переводили также Г. Бен, В. Гамаюн (вариация), А. Гастев, Г. Кружков, М. Соковнин, Э. Соловкова и О. Стельмак.

ПЕСНЯ ИЗ ПОЭМЫ «ПРИНЦЕССА» (МЕЖДУ ЧАСТЯМИ 3 И 4)

Величья свет сквозь бездну лет
 На замок пал, на гор вершины,
 Вдоль всех озер свой шлейф простер
 И водопадом к славе хлынул.
 Пой, рог, и пой, слетает эхо свыше,
 Пой, рог, и пой; а эхо – тише, тише, тише.

Чу, слышишь, рог! так слаб, далек,
 Яснее, тоньше, дальше тает!
 Там, в глуби гор чуть слышный горн,
 Горн царства эльфов замирает!
 Пой, отклик твой пускай долины слышат,
 Пой, рог, и пой; а эхо – тише, тише, тише.

Они ушли за край земли,
 В те небеса, под сень природы:
 Но эхом в нас звучат сейчас,
 И громче, громче год от года.
 Пой, рог, и пой, слетает эхо свыше
 И отвечает эху – тише, тише, тише.

Рейтинг стихотворения – 133. Стихотворение переводили также Г. Кружков и Э. Соловкова.

АТАКА ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ¹

I

В полу-лье, в полу-лье,
 В полу-лье дальше,
 Прямо долиной Смертей
 Скачут шесть сотен.
 «Слушай приказ, отряд!
 Пушки отбить назад!»
 Прямо в долину Смертей
 Скачут шесть сотен.

II

«Слушай приказ, отряд!»
 Страхом ли кто объят?
 Нет, хотя знал солдат:
 Дело в просчете.
 Не обсудить – приказ,
 Не объяснить – приказ,
 Жизнь положить – приказ:
 Прямо в долину Смертей
 Скачут шесть сотен.

III

Справа орудья бьют,
 Слева орудья бьют,
 Прямо орудья бьют,
 Тысячи – против;
 В грудь им – картечь, шрапнель;
 Храбрым, все ближе цель
 В пасти у Смерти;

¹ Атака легкой бригады была неудачной военной акцией (целью которой было помешать русским войскам убрать трофейные орудия с захваченных турецких позиций) с участием британской легкой кавалерии во главе с лордом Кардиганом во время битвы под Балаклавой 13 (25) октября 1854 года в Крымскую войну. Легкая бригада достигла русской батареи под уничтожающим огнем прямой наводкой и рассеяла часть русских артиллеристов, но была вынуждена немедленно отступить; штурм закончился безрезультатно с очень большими потерями англичан.

Прямо в адскую щель
Скачут шесть сотен.

IV

С шашками наголо,
Лавой – шестьсот голов –
Всех пушкарей смело
Армии русской; здесь
 Храбрость в почете:
С ходу, за пять минут,
Снова отбит редут;
Дрогнув, казаки
В панике в тыл бегут,
 Сдав в переплете.
Скачет отряд назад,
 Но – не шесть сотен.

V

Справа орудья бьют,
Слева орудья бьют,
Сзади орудья бьют,
 Тысячи – против;
Вслед им – картечь, шрапнель,
Мчат, поразивши цель
Так, как никто досель,
Из пасти Смерти,
Через адскую щель
Все, кто остался жив
 Из шести сотен.

VI

Слава сраженью их!
Мир изумленно стих:
 Бой был неистов!
Славит ваш подвиг стих:
Славься, отряд лихих
 Кавалеристов!

ИЗ ПОЭМЫ «ПРИНЦЕССА» (ЧАСТЬ VII)

Спят лепестки у лилий, спят у роз;
 В дворцовом парке замер кипарис;
 Плавник в фонтанной глади не сверкнет;
 Не спит светляк: не спать с тобой и мне.

Поник павлин, белея, как фантом,
 И, как фантом, светляк мерцает мне.

Лежит Земля Данаей к миру звезд,
 И так же ты раскрыла сердце мне.

Бесшумный метеор оставил вскользь
 Ярчайший след – мечты твои во мне.

Вся прелесть лилий сложена, скользя
 В глубь озера прозрачного: и ты,
 Любимая, как лилия сложишься,
 Скользни мне в грудь и – пребывай во мне.

Рейтинг стихотворения – 89. Стихотворение переводили также Г. Бен, Б. Кушнер и Э. Соловкова, первую строфу – Т. Олейник.

ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТИ А.Г.Х.»¹

ВСТУПЛЕНИЕ

Бессмертный дар Творца, Любовь,
 Тебя, светило дня и тьмы,
 На веру принимаем мы
 Своей единственной судьбой;

Ты в людях, тварях Жизнь творишь;
 Ты Смерть творишь; но и стопой
 На череп, созданный Тобой,
 Владыка, встала и стоишь.

¹ Памяти А[ртюра] Г[енри] Х[аллэма]. Артур Генри Халлэм – скоропостижно скончавшийся 15 сентября 1833 года в возрасте 22 лет в Вене ближайший друг поэта.

Ты не оставишь в прахе нас:
Ты сотворила нас (зачем?)
Не для того, чтоб стал ничем
Наш дух и разум в смертный час.

Святая, мнишься нам земной,
Ты – наш божественный кумир:
Желаний наших тайный мир
Принадлежит Тебе одной.

На миг – вселенным нашим срок,
На миг, и вновь – в небытие:
Мы пыль в сиянии Твоем,
А Ты светило наше – Бог.

Своей судьбы не можем знать;
Мир наших знаний – мир вокруг;
Но верим – дело Божьих рук
Твой свет: так дай ему сиять.

Чем больше знаем мы, тем в нас
Благоговение сильней;
Душа – и ум в согласье с ней –
Звучат торжественней сейчас,

Чем прежде. Но глупей нас нет:
Храбримся, пойманные в сеть;
Так помоги глупцам терпеть;
Дай суетным – снести Твой свет.

Прости, что мнил в себе грехом,
Что я богатством прежде чтил;
Людским достоинствам кадил,
Был, Бог мой, не к Тебе влеком.

Прости мне скорбь о том, кто был,
Твое созданье, столь красив;
В Тебе он, верю, будет жив,
Чтоб я его сильней любил.

Прости ошибки юных дней,
Мой плач о том, кого здесь нет;
Прости несвязный этот бред,
Даруя мудростью Твоей.

Рейтинг стихотворения – 81. Стихотворение переводили также А. Гастев,
Э. Соловкова и Т. Стамова.

LIV

Мы верим в то, что боль уйдет,
 Что бедам – нас не сокрушить:
 В страданиях тела и души
Живое крепость обретет;

Что нет бесцельности ни в чем:
 Жизнь ни одна не канет в прах,
 Как мусор, брошена впотьмах,
Когда Господь закончит дом;

Что даже червь живет не зря;
 И мотылька иное ждет,
 Когда к свече стремится полет,
Бесплодной страстию горя.

Не больше знаем мы, чем Ной;
 Лишь верой в лучшее полны,
 В триумф – в конце концов – весны
Над затянувшейся зимой.

Так мыслю я: но что я сам?
 Дитя, кричащее в ночи,
 Дитя, кто света дня кричит
Без слов – взывая к небесам.

Рейтинг стихотворения – 79. Стихотворение переводили также Г. Кружков,
Э. Соловкова и Т. Стамова.

ВЕЙ НЕЖНЕЙ

Колыбельная из поэмы «Принцесса»

Вей нежней, вей нежней,
Западный бриз морской!
Вей, вей, дуй ровней,
Западный бриз морской!
Над колыханием зыбей

Прямо с луны лети и вей,
Папу носи домой,
Где мой маленький, где мой миленький спит.

Спи-усни, спи-усни,
Папа вернется к родным;
Спи, спи, к груди прильни,
Папа вернется к родным;
Папа вернется, наш птенчик, засни;
Парус серебряный, папу храни
Под серебром луны;
Спи, мой маленький, спи, мой миленький, спи.

Рейтинг стихотворения – 80. Колыбельную переводили также Н. Кончаловская, Г. Кружков, Ю. Левин, Л. Мартынов (вариация), О. Парамонов и Э. Соловкова.

ЦВЕТOK В ТРЕЩИНЕ СТЕНЫ¹

В трещине на стене цветок,
Я рву тебя с корнем вместе,
Держу в руке, вот как есть, – как ты мал,
Крохотный, – но если бы я познал,
Что есть ты, вот как есть, я бы мог,
Что есть Бог постичь и что есть я.

Рейтинг стихотворения – 56. Стихотворение переводил также Я. Бергер.

Перевод с английского Сергея Федосова

¹ О популярности этого стихотворения свидетельствует мемориальная статуя Теннисона рядом с кафедральным собором в Линкольне (Англия), изображающая его с цветком в руке; на лицевой стороне постамента под именем поэта – табличка с текстом стихотворения.

IN MEMORIAM



Алексей Цветков

«Я ЗДЕСЬ ВДВОЕМ С СОБОЙ И В ОДИНОЧКУ»

Ушел от нас Алексей Цветков. Лёша. Великий поэт. Поэт, который, так получилось, пишет на русском, как он сам себя определял. Цветков создал свой собственный поэтический язык. В принципе невозпроизводимый, затягивающий. Цветкова неизменно хочется читать до конца и перечитывать, что не всегда бывает с другими великими. Его невероятная игра – не слов, а мысли, смыслов, юмора – завораживает.

О поэзии, о творчестве Цветкова еще будет много, хорошо и умно написано. А сейчас мы, близкие друзья Лёши, «семья», как мы называем себя в Нью Йорке, просто охвачены горем, тоской по этому человеку – блестящему, глубокому, внешне резкому, бесконечно доброму, с колючим чувством юмора и пугающе широкой эрудицией. И вечной грустью поэта, о которой не скажешь лучше, чем он: «пора в мобильнике порыться / взять и жениться по любви».

Вот небольшая подборка стихов Цветкова, которые он сам публиковал в Фейсбуке в последние недели (как страшно и странно это звучит!), то есть тех, которыми он хотел поделиться в недавнее время.

Андрей Грицман

угол зрения

я трудился обходчиком на полустанке одном
то да се по хозяйству и жил бы себе постепенно
но с полгода тому аккурат под моим полотном
двинул речь предместком и зарыли меня под шопена

разводил бы кролей только дохнут у нас от жары
все в район собирался кино у них там или книжки
а теперь если б даже и были в орбитах шары
перспектива тесна ни хрена не видать кроме крышки

ты в натуре братан я такие расклады ебу
этот прелый пиджак и к труду неспособная поза
ведь не ленин же я чтобы круглые сутки в гробу
да и ленин бы был нулевая отечеству польза

хоть бы даже и памятник на постаменте таком
как в районе где массы подвыпив гуляют под вечер
вот и стой истуканом с фонариком и молотком
ни болта не подтянешь и рельсы остукивать нечем

тут порой за неделю вообще не расстелешь кровать
все сплестишь и стучишь и составы несутся полями
что за прок ветерана путей глубоко зарывать
и чего вы прилипли ко мне со своими кролями

что в гробу я видал это книжки и ваше кино
хоть оно без привычки и умное слово останки
запахло мне валяться когда моя смена давно
если ясно что все под откос на моем полустанке

к годовщине «Титаника»

nearer my god to thee

из нахмуренных туч налетает норд-ост слезя
в океане под килем киты и прочие гуппи
для кого она бездна а этим китам стезя
мы на палубе с беном оба в альтовой группе

остальные на суше кому хорошо в тепле
посидишь у камина и санки потом да лыжи
и тогда заиграли ближе боже к тебе
потому что как ни вертись а реально ближе

угадай в этой спешке куда повернет судьба
помню раз приезжал в перманенте один из вены
два часа отпилили не утирая лба
а чего не сыграть если в музыке нет измены

налегаешь на форте чтоб вытеснить шум аорт
пассажирина шляпка адью лишь по ветру лента
это бену мерси это он заманил на борт
а поди откажись если нету ангажементы

от ненужного ужаса судорожны зевки
все шеренгами к шлюпкам в пятках смертные души
почему вдруг пришла на ум эта песня земли
потому что уже никогда ни земли ни суши

но когда надо мной и над ним сомкнулась вода
 а смычки как по маслу на слух ни малейшей фальши
 мы решили с беном что в музыке нет вреда
 мы играли дальше

* * *

нахлынет наречия пряча
 в густых двоеточиях речь
 прости что ни речи ни плача
 в разлуке не смог уберечь

со струпьями страха на коже
 к какому соваться врачу
 когда тебе больно я тоже
 всей памятью кровотоку

но память упорная сводня
 в торосах азовского льда
 где твой мариуполь сегодня
 открытым свищом навсегда

не слипнуться векам над бездной
 но речи увечна черта
 лишь русский язык бесполезный
 помойной кишкой изо рта

лишь лепет под градов раскаты
 и лед словно лава бугрист
 где чертит свои лемнискаты
 щербатый с косою фигурист

железнодорожные страдания

слышь браток закури сигарету
 осуши свою стопку до дна
 расскажу тебе жизнь по секрету
 чтобы понял какая она

поначалу водила по кругу
 пил-гулял на пляжах загорал

а потом я зарезал подругу
и меня увезли за урал

там понятно базар со своими
с воровским тусовался полком
только тут меня в секту сманили
стал я богу молиться тайком

и от этого ихнего бога
я узнал наступает хана
как прищуришься в небо немного
роковая планета видна

мерзлоту окаянную роя
ум допер содрогнулись сердца
в целом свете не сыщешь героя
чтоб сумел избежать пи...ца

наставлял же нас кормчий премудро
что полундра и всюду враги
и явилась подруга под утро
вся в кровище и шепчет беги

вот и маюсь где рубль где полтина
современникам тайну открыть
а ты даже полстопки скотина
не желаешь предтече отлить

хрен в кремле или бесы в погоне
доберутся вот-вот и до нас
неспроста мне в четвертом вагоне
съездил в рыло один п...ас

вся столица накроется вскоре
следом тверь и творенье петра
ой ты родина горькое горе
мирового атаса пора

певцы

Л. Рубинштейну

страна в перманентном упадке
и дыбом окурки из блюд
в осеннем потрепанном парке
за столиком люди поют

над ними то солнце восходит
то сумрак клубится слоист
но тенором страстным выводит
мотив самопальный солист

в словесной мучительной пряже
тоска и любовь напролет
возможно и выпили даже
а кто под закуску не пьет

история расы вскипает
в стенаниях или мольбах
и хор постепенно вступает
аж пучатся жилы на лбах

о том ли что воин на фронте
и баба всплакнула о нем
народное горе не троньте
гори оно синим огнем

поют о последнем патроне
о шуме в ночном камыше
хоть нет у солиста гармонии
гармонии уйма в душе

не сам ли хоть не паваротти
еще до нисшествия тьмы
я был этой плотью от плоти
такими как эти людьми

свидетель их нивам и водам
не нильский же впрямь крокодил
я был этим певчим народом
в такой уж пардон угодил

и песен над пивом и пеной
всю норму отпел до хрена
а что до страны невъебенной
ступай она лесом страна

проекция на плоскость

вдали от зверей и растений
он жил постепенно в крыму
и мир как орнамент настенный
двумерно являлся ему

к ходьбе непригодным ребенком
точнее не жил а лежал
и солнечный невод на тонком
подобии жизни дрожал

спускались в зеркальное море
двоящихся суток слоны
но ночь наступившая вскоре
смывала пейзаж со стены

а в мире который реален
но в зеркале наоборот
из дальних неведомых спален
спешил быстроногий народ

в лесах у лосей и оленей
ветвились рога при луне
и планы больших преступлений
злодеи слагали в уме

умельцы огня и металла
творцы электрических схем
следа чтобы смерть обитала
на горе недоброе всем

там ряли грубые духи
он плакал пока не ушли
он думал кому эти мухи
и божьи коровки нужны

как ангелы в мессу к собору

они прилетали к нему
он вышел пешком на свободу
а смерть остается в крыму

где бдят за обоями крысы
каких он боялся дитя
клыками торчат кипарисы
луну в своем зеве вертя

он прежнего страха потомок
паломник попятных дорог
по-прежнему божьих коровок
и мух неизвестен урок

Алексей Цветков родился в городе Станислав (ныне Ивано-Франковск) в 1947 году. Поэт, переводчик, журналист. Один из основателей группы «Московское время». Лауреат премии А. Белого (2007), премии журнала «Интерпоэзия» (2013). Автор нескольких книг стихов и многочисленных публикаций в литературных журналах. Умер в Тель-Авиве в 2022 году.

